



Плевако Федор Никифорович

Судебные речи

- **Аннотация:**

Дело Бартенева

Дело Грузинского

Дело Замятниных

Дело Лукашевича

Дело Люторических крестьян

Дело Максименко

Дело рабочих Коншинской фабрики

Речь Ф. Н. Плевако в защиту Каструбо-Карицкого

Ф.Н. Плевако

Судебные речи

Судебные речи известных русских юристов. Сборник

Издание второе, исправленное и дополненное.

М., Государственное издательство юридической литературы, 1957

[OCR Бычков М. Н.](#)

Содержание

Биографическая справка

Дело Бартенева

Дело Грузинского

Дело Замятниных

Дело Лукашевича

Дело Люторических крестьян

Дело Максименко

Дело рабочих Коншинской фабрики

Речь Ф. Н. Плевако в защиту Каструбо-Карицкого

Плевако Федор Никифорович (1842--1908 гг.) -- крупнейший дореволюционный русский адвокат, имя которого хорошо известно не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Юридическое образование Ф. Н. Плевако получил в Московском университете. Вскоре после введения Судебных уставов 1864 года вступил в адвокатуру и состоял присяжным поверенным при Московской судебной палате. Постепенно, от процесса к процессу, он своими



умными, проникновенными речами завоевал широкое признание и славу выдающегося судебного оратора. Всегда тщательно готовился к делу, хорошо знал все его обстоятельства, умел глубоко анализировать доказательства и показать суду внутренний смысл тех или иных явлений. Речи его отличались большой психологической глубиной, доходчивостью и простотой. Самые сложные человеческие отношения, неразрешимые подчас житейские ситуации освещал он в доступной, понятной для слушателей форме, с особой внутренней теплотой. По выражению А. Ф. Кони, это был "...человек, у которого ораторское искусство переходило в вдохновение" {Архив Института русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР, ф. 1⁴, оп. 1, Ег ар 216, стр. 2.}.

В судебных речах он не ограничивался освещением только юридической стороны рассматриваемого дела. В ряде судебных выступлений Ф. Н. Плевако затрагивал большие социальные вопросы, которые находились в поле зрения и волновали передовую общественность.

Нельзя забыть его гневные слова в адрес игуменьи Митрофании:

"Путник, идущий мимо высоких стен Владычного монастыря, вверенного нравственному руководству этой женщины, набожно крестится на золотые кресты храмов и думает, что идет мимо дома Божьего, а в этом доме утренний звон подымал настоятельницу и ее слуг не на молитву, а на темные дела!

Вместо храма -- биржа; вместо молящегося люда -- аферисты и скупщики поддельных документов; вместе молитвы -- упражнение в составлении вексельных текстов; вместо подвигов добра -- приготовление к ложным показаниям, -- вот что скрывалось за стенами.

Стены монастырские в наших древних обителях скрывают от монаха мирские соблазны, а у игуменьи Митрофании -- не то...

Выше, выше стройте стены вверенных вам общин, чтобы миру не было видно дел, которые вы творите под "покровом рясы и обители!.."

Острые социальные вопросы затрагивает Ф. Н. Плевако и в других речах. Так, выступая в защиту люторических крестьян, восставших против нечеловеческой эксплуатации и безмерных поборов, он говорит;

"Мы, когда с нас взыскивают недожное, волнуемся, теряем самообладание; волнуемся, теряя или малую долю наших достатков, или что-либо наживное, поправимое.

Но у мужика редок рубль и дорого ему достается. С отнятым кровным рублем у него уходят нередко счастье и будущность семьи, начинается вечное рабство, вечная зависимость перед мироедами и богачами. Раз разбитое хозяйство умирает - и батрак осужден на всю жизнь искать, как благодеяния, работы у сильных и лобзать руку, дающую ему грош за труд, доставляющий другому выгоды на сотни рублей, лобзать, как руку благодетеля, и плакать, и просить нового благодеяния, нового кабального труда за крохи хлеба и жалкие лохмотья".

Плевако никогда не рассчитывал только на свой талант, В основе его успеха лежало большое трудолюбие, настойчивая работа над словом и мыслью.

Ф. Н. Плевако -- наиболее колоритная фигура среди крупнейших дореволюционных адвокатов, он резко выделялся своей яркой индивидуальностью среди не бедной талантливими ораторами дореволюционной адвокатуры.

А. Ф. Кони так характеризовал талант Плевако: "...сквозь внешнее обличие защитника выступал трибун, для которого дело было лишь поводом и которому мешала ограда конкретного случая, стеснявшая взмах его крыльев, со всей присущей им силой" {А. Ф. Кони, Отцы и дети судебной реформы, издание т-ва И. Д. Сытина, 1914, стр. 260.}.

Содержание речи, ее тон и направление Плевако, как никто из дореволюционных судебных ораторов, увязывает с настроением слушателей, к которым она



обращена. Он большой мастер понимать и проникать в настроение судебной аудитории, умело затрагивая нужные струны.

Говоря о Плевако, В. В. Вересаев в одном из своих воспоминаний передает следующий рассказ о нем:

"Главная его сила заключалась в интонациях, в подлинной, прямо колдовской заразительности чувства, которыми он умел зажечь слушателя. Поэтому речи его на бумаге и в отдаленной мере не передают их потрясающей силы.

Судили священника, совершившего тяжкое преступление, в котором он полностью изобличался, не отрицал вины и подсудимый.

После громовой речи прокурора выступил Плевако. Он медленно поднялся, бледный, взволнованный. Речь его состояла всего из нескольких фраз...

"Господа, присяжные заседатели! Дело ясное. Прокурор во всем совершенно прав- Все эти преступления подсудимый совершил и в них сознался. О чем тут спорить? Но я обращаю ваше внимание вот на что. Перед вами сидит человек, который ТРИДЦАТЬ ЛЕТ отпущал на исповеди все ваши грехи. Теперь он ждет от вас: отпустите ли вы ему его грех?" И сел. Рассказывая о другом случае, Вересаев пишет:

"Прокуроры знали силу Плевако. Старушка украла жестяной чайник, стоимостью дешевле 50 копеек. Она была потомственная почетная гражданка и, как лицо привилегированного сословия, подлежала суду присяжных. По наряду ли или так, по прихоти, защитником старушки выступил Плевако. Прокурор решил заранее парализовать влияние защитительной речи Плевако и сам высказал все, что можно было сказать в защиту старушки: бедная старушка, горькая нужда, кража незначительная, подсудимая вызывает не негодование, а только жалость. Но собственность священна. Все наше гражданское благоустройство держится на собственности, если мы позволим людям потрясать ее, то страна погибнет.

Поднялся Плевако.

-- Много бед, много испытаний пришлось перенести России за ее больше чем тысячелетнее существование. Печенег терзали ее, половцы, татары и поляки. Дванадцать языков обрушились на нее, взяли Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь... Старушка украла старый чайник, стоимостью в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно" {В. В. Вересаев, Соч., т. IV, М., 1948, стр. 446--447.}.

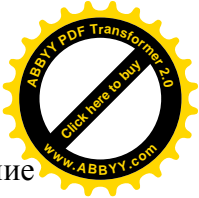
Но не только присяжные поддавались обаянию большого таланта Плевако, и коронные судьи нередко оказывались в плену его большого, сильного и тонкого психологического воздействия.

Сравнения и образы Плевако очень сильны, убедительны, глубоко запоминающиеся. Образные сравнения еще более увеличивают впечатление его эффектных речей.

Речь Плевако в защиту Бартенева по делу об убийстве артистки Висновской -- блестящий образец русского судебного красноречия. Она отличается исключительно психологической глубиной, тонким анализом душевного состояния убитой и подсудимого. Указанная речь безупречна по своему стилю, отличается высокой художественностью. Анализ психологического состояния молодой, преуспевающей артистки и подсудимого дан исключительно глубоко и талантливо..

Почти не разбирая вопросов состава преступления, да обстоятельства дела этого и не требовали, Плевако кистью большого художника образно рисует обстановку, в которой созревало преступление.

В этой речи глубоко и правдиво рисуется внутренний и внешний мир молодой, красивой, талантливой актрисы Висновской, успешно выступавшей на сцене



Варшавского императорского театра. Умело затрагивая и показывая внутренние пружины душевного разлада молодой, пользующейся большим успехом женщины, Плевако правдиво рисует обстановку преступления.

Эта речь по праву приобрела известность далеко за пределами России.

Из представленных в сборнике речей читатель может вынести достаточное впечатление о творчестве этого талантливого адвоката и выдающегося судебного оратора.

После смерти Плевако опубликовано около 60 его речей, составляющих два тома.

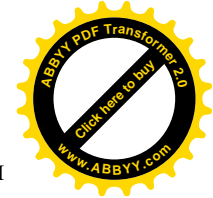
Дело Бартенева

А. М. Бартенева предан суду по обвинению в умышленном убийстве артистки Марии Висновской. По обвинительному акту дело состояло в следующем.

В феврале 1890 года кто-то из знакомых Бартенева представил его Висновской в кассе Варшавского драматического театра. Миловидная наружность известной на всех сценах артистки произвела на Бартенева сильное впечатление. Через некоторое время он сделал Висновской визит, но, чувствуя некоторую робость в ее присутствии, бывал у своей новой знакомой редко и ограничивался лишь посылкой букетов и изредка утренними посещениями. Позднее Бартенева стал бывать у Висновской чаще и, наконец, сделал ей формальное предложение вступить с ним в брак. Это предложение зависело от согласия на этот брак родителей Бартенева, с которыми он во время отпуска должен был переговорить.

Съездив в деревню, Бартенева с родителями, однако, не говорил об этом, ибо наперед знал, что получит отказ. Висновской же он сказал, что с родителями говорил, но их согласия не добился.

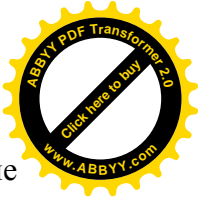
Бартенева все чаще стал посещать Висновскую, ежедневно посылал ей на дом и на сцену мелкие подарки и букеты, и таким образом поддерживались между ним и Висновской хорошие отношения. Эти отношения простого знакомства круто переменились 26 марта 1890 г. Вечером этого дня, после ужина в квартире Висновской, последняя отдалась впервые Бартенева. Счастье Бартенева, однако, не было полным. Большой сценический успех, красивая наружность и сильно развитое кокетство Висновской привлекало к ней мужчин, и их посещения вызывали в Бартенева чувство ревности. Под влиянием этого чувства и горя, что он не может жениться на Висновской, Бартенева часто говорил ей о своем намерении лишиться себя жизни; Висновская же, охотно говорившая о кончине и окружавшая себя эмблемами смерти, поддерживала этот разговор и показывала банку, в которой, по ее словам, был яд и маленький с белой ручкой револьвер. Во время одного из таких разговоров Висновская спросила Бартенева: хватило ли бы у него мужества убить ее и затем лишиться себя жизни? В другой раз она взяла с него обещание, что он известит ее об окончательном решении покончить с собой и даст ей возможность увидеть его и проститься с ним. Мрачные мысли, однако, быстро сменялись шумными пирушками в загородных ресторанах и любовными свиданиями. Рядом с ними шли, однако, взаимные неудовольствия и легкие размолвки. Как-то в мае Висновская заявила Бартенева, что его ночные посещения компрометируют ее, и просила его, если он желает встречаться с ней наедине, приискать квартиру в глухой части города. 16 июня 1890 г. комната, нанятая Бартенева в доме No 14 по Новгородской улице, была отделана, и в тот же день Бартенева предложил Висновской взять ключ от этой квартиры. "Теперь поздно",-- ответила она и, не объясняя значения слова "поздно", утром следующего дня, то



есть 17 июня, уехала на целый день на дачу к матери. Мучимый ревностью и объясняя отъезд Висновской и слово "поздно" желанием прервать с ним отношения, Бартенева написал Висновской полное упреков письмо, которое оканчивалось заявлением, что он лишит себя жизни. Одновременно с письмом он отослал ей все полученные от нее письма, перчатки, шляпу и другие мелкие вещи, взятые им на память. Отослав письма и вещи, Бартенева поехал к своим знакомым Михаловским и вернулся около полуночи домой. Полчаса спустя горничная Висновской передала ему записку своей барыни, прибавив, что Висновская ждет его в карете. Несколько минут спустя Бартенева и Висновская уехали в город. На пути и в квартире на Новгородской улице происходили объяснения, кончившиеся тем, что Висновская назначила Бартенева свидание в той же квартире на другой день в шесть часов. Это свидание, как говорила Висновская, должно было быть последним, потому что уже окончательно был решен ее отъезд через несколько дней за границу, сначала в Галицию, а затем в Англию и Америку.

На другой день в седьмом часу ожидавший Висновскую Бартенева открыл ей двери помещения на Новгородской улице. Войдя в комнату, Висновская положила на диван два свертка, раздевшись, вынула из одного из них пенюар, а из другого -- большой заряженный принадлежавший Бартенева и хранившийся у Висновской револьвер. На вопрос Бартенева, зачем она принесла револьвер, Висновская ответила, что он ей больше не нужен и что она возвращает его владельцу. В начале свидания оба находились под впечатлением размолвок последних дней; потом разговор стал нежнее, Бартенева говорил о любви, о том, что он не переживет ее отъезда, и вскоре прежние отношения возобновились. Приблизительно в, десять часов вечера Висновской захотелось есть. Поужинав, Висновская легла на диван. Часа два спустя Висновская спросила Бартенева, который час. Оказалось, что полночь миновала, "Пора мне домой", -- сказала Висновская и собиралась одеваться, но, по просьбе Бартенева, легла опять и задумалась. "Какая тишина, -- сказала она через некоторое время, -- мы точно в могиле". Потом, помолчав, прибавила: "Пора мне ехать, но как-то не хочется уходить, я чувствую, что не выйду отсюда". Бартенева на это ничего не ответил, и разговор прекратился. "Разве ты меня любишь? -- возобновила Висновская разговор, -- если бы ты меня любил, то не грозил бы мне своей смертью, а убил бы меня". Бартенева возражал, что он себя может лишиться жизни, но убить ее у него не хватит сил. Вслед за этим он прикладывал револьвер с взведенным курком к себе. "Нет, это будет жестоко, убить себя на моих глазах, что же я тогда буду делать", -- сказала Висновская и, вынув из кармана своего платья две банки -- одну с опиумом, а другую с добытым Бартенева, по ее просьбе, хлороформом, предложила принять вместе яду, и затем, когда она будет в забытьи, убить ее из револьвера и покончить затем с собой. Бартенева согласился. После этого они оба начали писать записки. Висновская писала долго, рвала записки и опять начинала писать. Окончив свои записки раньше Висновской, Бартенева начал ее торопить. После этого Висновская приняла опиум вместе с портером; Бартеиев тоже выпил немножко отравленного портера. Затем Висновская легла на диван и, помочив два носовых платка хлороформом, положила их себе на лицо. Через некоторое время Бартенева присел на край дивана, обнял левой рукой находившуюся в забытьи Висновскую и, приложив бывший у него в правой руке револьвер к обнаженной груди ее, спустил курок. Когда это случилось, Бартенева с точностью определить не мог; он допускает, однако, что выстрел последовал в три или после трех часов утра. Совершив убийство, Бартенева около пяти часов утра запер квартиру и, забрав с собой револьвер, уехал домой.

Объяснение обвиняемого о лишении им жизни Висновской по ее просьбе и согласно желанию убитой, говорит обвинительный акт, опровергается вполне как показаниями родственников и друзей потерпевшей, так и содержанием



восстановленных из найденных на месте преступления разорванных на мелкие куски записок покойной. Текст записок гласит следующее: 1) "Человек этот угрожал мне своей смертью -- я пришла. Живой не даст мне уйти" 2) "Итак последний мой час настал: человек этот не выпустит меня живой. Боже, не оставь меня! Последняя моя мысль -- мать и искусство. Смерть эта не по моей воле". 3) "Ловушка? Мне предстоит умереть. Человек этот является правосудием!!! Боюсь... Дрожу! Последняя мысль моя матери и искусству. Боже, спаси меня, помоги... Вовлеки меня... это была ловушка. Висновская". По поводу содержания последних трех записок Бартенев ничего не смог ответить.

Он подробно описал все обстоятельства их пребывания в одной комнате перед убийством. "Я так был убежден, что отец никогда бы мне не разрешил жениться на Висновской, а поэтому и написал в записке фразу: "Вы не хотели моего счастья". Висновская долго писала записки, писала с расстановками, не спеша обдумывая. Напишет что-то и остановится, думая, глядя на дверь; опять напишет два-три слова и снова размышляет. Написав записки, она рвала их, бросала, куда попало, и снова принималась писать; опять рвала и снова продолжала писать. Я кончил писать гораздо раньше. Комната освещалась одной свечкой, когда мы начали писать, я хотел зажечь другую свечу, но она сказала: "Не нужно!". Сколько было написано ею записок, не знаю; помню только, что осталось их две; я спросил ее, что она написала; она ответила: одну матери, а другую в дирекцию театров; о разорванных записках я ее не спрашивал. Она захотела прочесть мои записки и разорвала ту, которую я написал в резкой форме Палицыну, сказав, что если ее оставить, то Палицын ничего не сделает для матери, как она его о том просит в своей записке. Затем опять начался разговор о нашей любви, о безысходности положения, о том, что нам остается умереть, и тут я прибавил, что "уж если так, то надо это сделать поскорее!". Она решила сначала принять опиум, чтобы привести себя в бессознательное состояние, а я должен был сначала ее застрелить, а потом уж себя. Она насыпала в стакан с портером опия, и стала пить глотками эту смесь. Остаток, долив портером, выпил я. Она легла на диван и просила положить ей на колени две записки, ею написанные. Я это исполнил. Затем она намочила свой и мой платки хлороформом и наложила их себе на лицо. Помню, что она попросила дать ей еще опия; я подал, но она не приняла, так как у нее появилась рвота. Она просила убить ее во имя нашей любви, настойчиво повторяя: "Если ты меня любишь, убей", Я сидел возле нее с револьвером в правой руке и взведенным еще раньше курком. Я, кажется, обнял ее за шею левой рукой, а она все время лепетала, чтобы я ее убил, если люблю. Помнится, что я прильнул к ее губам; она по-французски сказала: "Прощай, я тебя люблю"; я прижался к ней и держал револьвер так, что палец у меня находился на спуске; я чувствовал подергивания во всем теле; палец как-то сам собой нажал спуск и последовал выстрел. Я не желаю этим сказать, что выстрелил случайно, неумышленно; напротив того, я все это делал именно для того, чтобы выстрелить, но только я хочу объяснить, что то мгновение, когда произошел выстрел, опередило несколько мое желание спустить курок. Голова у меня была, как в тумане. После выстрела мной овладел ужас, и в первый момент у меня не только не появилось мысли застрелить тут же себя, но у меня никаких мыслей не было или, вернее, они все перепутались в моей голове, и я не знал, что делать. Мне помнится слабо, что я схватил сифон с сельтерской водой и стал ее лить на голову Висновской; для чего я это делал, не знаю; я не давал себе отчета в бесполезности этой меры. Который был час в это время, не знаю: может быть, три часа, может быть, больше. Долго ли я оставался после выстрела и что я делал, не могу дать себе отчета. На меня нашло какое-то оупение, я машинально надел шинель и фуражку и поехал в полк. Не помню, запер ли я дверь или нет. Содержание трех разорванных записок меня удивляет; я не думал принуждать ее к

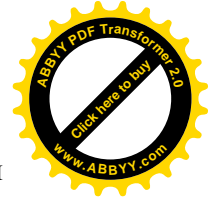


смерти, я только говорил, что не могу жить без нее. Если бы сна хотела, она легко могла бы меня успокоить, так как вообще она могла делать со мной все, что ей было угодно. Стоило ей только сказать мне слово, что ничего этого не нужно, что она хочет еще жить, я был бы далек от мысли об убийстве я бы и сам, пожалуй, воздержался от мысли о самоубийстве. Но Висновская даже не намекнула на желание пользоваться жизнью, и, напротив того, своими разговорами поддерживала наше общее желание расстаться с жизнью во имя нашей любви". На вопрос о том, почему же Бартнев не убил себя, он ответил, что его душевное состояние было таково, что он об этом совсем не думал. По делу допрошено 67 свидетелей. Показания одних из них подтверждали намерение Бартнева лишиться Висновскую жизни. Другие же указывали на такой характер их отношений, какой явствовал из показаний Бартнева. Бартнев был предан суду по обвинению в умышленном убийстве. Рассматривал дело Варшавский окружной суд без участия присяжных заседателей 7--10.2 1891 г.

* * *

Между обвинением и подсудимым в настоящем деле нет места для захватывающей дух борьбы, для непримиримого спора. Подсудимый, сознавшийся на предварительном следствии, подтвердил без всяких уклонений свое слово и здесь, на суде. Это упрощает задачу защиты, суживает объем ее, ограничивая ее доводы теми, которые по данным делам могут влиять лишь на меру и степень заслуженной подсудимым кары.

Формулируя с достаточной точностью признаки, по которым судья распознает между безнравственными поступками такие, которые влекут за собой уголовную кару, указывая на роды и виды наказаний, сопровождающих то или другое преступление, закон не исчерпал всех случаев, которые влияют на понижение назначенного наказания, но предоставил судьям значительную долю усмотрения при смягчении его. Все, что в жизни подсудимого, в его характере, в его прирожденных достоинствах и недостатках, наконец, в обстановке совершенного им преступления возбуждает сожаление, снисходительное сострадание в честном человеческом сердце, все это имеет право принять во внимание и судья, отправляющий правосудие. Отсюда следует, что изучение условий, которые влияют на меру наказания, ожидаемого подсудимым, должно совпасть с воспроизведением тех фактических подробностей дела, в которых заключаются яркие признаки наличности данных, уполномочивающих меня говорить о пощаде и снисхождении к моему клиенту. Останавливаясь на них, я воспользуюсь планом обвинителя: сначала изучу прошлое подсудимого и его. жертвы до их первой встречи и затем уже, проследив печальную драму, начавшуюся их знакомством, подойду к ужасной минуте преступления. Вся разница будет заключаться в том, что я введу в дело факты, пройденные молчанием со стороны-обвинителя, а эти факты дадут место иным выводам, более мягким, чем те, к которым пришел он; но метод, обнаруживающий в своем применении присутствие человечности и сострадания, надеюсь, имеет право конкурировать с тем, которому он противопоставляется. Итак, к делу. Обвинитель познакомил вас с личностью Марии Висновской. Он не отрицает, даже подчеркивает темные пятна в ее жизни и поступках, ставя, впрочем, их рядом с высотой ее умственных сил, выразившейся в думах и мыслях, занесенных ею в свой дневник. С своей стороны, присматриваясь к личности покойной, я не вижу необходимости ни идеализировать ее внутренних сил, ни унижать ее житейские поступки. Судя по тому, чего она достигла на сцене,



мы знаем, что она не была обижена судьбой: завидной красоте гармонировал талант, эта искра божия и душе, не затушенная, а развитая трудолюбием и любовью к образованию в молодой девушке. Но было бы ошибкой о высоте умозрений заключать по выпискам из ее дневника. Те мысли, которые приписал ей обвинитель, были цитатами, занесенными ею для памяти, из умных книг, попадавших ей под руку. Трудно себе представить, чтобы полные отчаяния пессимистические изречения скептика античного мира о блаженстве неродившихся и о счастье рано умерших были "законченными принципами" ее в то время почти еще детской головки, а не просто поразившими ее слух "страшными, но красиво сказанными словами" умного человека. Все в свое время... Для отвращения от жизни еще не настало срока, а жизнь с ее обстановкой пока работала над формировкой иных характерных черт в личности покойной. Время, когда Висновская записывала указанные цитаты, застаёт ее уже на сцене одного из театров. Молодой талант уже замечен, выделен из толпы лицедеев из-за куска хлеба. Талант, воплощенный в обольстительные формы молодой красоты, замечен трижды -- артистка делается любимицей. Тут-то бы, кажется, быть довольной, как никогда, своим положением, тут-то бы, кажется, не вспомнить ни одного из тех пессимистических изречений, которые ей пришли на ум, а она в них находит, точно несчастный в грустных музыкальных мелодиях, отголосок своему душевному настроению. Разгадка этого -- в фактах, занесенных ею в свои книжки. Очарованная своей эстетической карьерой сцена разочаровывает ее реализмом будничной жизни артиста. В окружающей ее театральной публике она встретила то, что приходится наблюдать везде и всюду: большинство поклонников, не умеющих уважать женщин в артистке и отделять интересы ее, как художника, от интересов женского и общечеловеческого достоинства. Любуясь ею, как артисткой, хотели быть близкими к ней, как к женщине. Служа эстетическому запросу публики на сцене, она не обретала покоя и после того, как опускался занавес театра. Любитель, располагавший, благодаря средствам возможностью всегда занимать лучшее место в театре, требовал той же доступности от артистки и вне театра, когда артистка оставалась только женщиной. И не всегда хватало у ней средств на борьбу с этими условиями артистической жизни. Вы помните те страницы ее дневника, где она жалуется на неотвязчивые искательства одних, на дерзкую самоуверенность других, на оскорблявшее девическое достоинство преследование третьих... Молодое сердце хочет любить, верить в то, что и ей на долю будет дана отрадная встреча, под впечатлением этого она подчас с доверием выслушивала ласковое слово, полуробкое признание, а через несколько дней уже клянет человека, оказавшегося, как и все, искателем либо сильных ощущений, либо быстрых и решительных побед в мире будуаров и таинственных парков... Так живет она, то удовлетворенная артистическим успехом, то оскорбляемая грубостью поклонников, то обольщенная любовью, то разочарованная пошлостью, прикрытой любовными речами. Все это отзывается в ее записках, все это мало-помалу, не формируя из нее глубоко убежденной пессимистки, однако, обращает ее воззрение к смерти и небытию. Она любит говорить о них, любит этого рода образы, и раз -- это было по какой-то странной мистической случайности, -- записала в свою книгу и картину своей будущей смерти. Она хотела бы, записала она десять лет тому назад, умереть в комнате, обтянутой розовой материей, таинственно освещенной лампой, среди цветов и музыки... Позднее жизнь исполнила ее мечтательное желание, хотя суровые условия немного пародировали обстановку, где Висновская покончила счеты с жизнью, пародировали ее, начиная с более темных колеров материи... но об этом после. Книга книгой, а жизнь жизнью. Висновская продолжает играть на сцене, продолжает завоевывать положение, отвлекающее ее помыслы от смерти. Прочно завоеванная репутация



талантливой артистки в ее руках. Ею занята пресса, она желанная работница на лучшей сцене. Однако социальное положение не удовлетворяет всех целей жизни. У нее остается внутренний мир женского сердца, а ему нанесены в прошлом тяжелые раны, которых не исцелило время и не утолили успехи. Висновская никогда не уходила в сцену всем существом своим. Женские семейные инстинкты не умирали в ней. Мечты ранней девичьей поры об избраннике не оставляли ее в более зрелую пору. На это нам намекают ее разговоры о женихах, ищущих ее руки. А если это верно и верно с тем вместе мое мнение о ней, то мы можем смело заглянуть в ее внутренний мир, в эту следующую пору ее жизни и отгадать мечты и Чувства, какие она тогда переживала.

Прошлое, ее чем-то жестоко оскорбившее, носилось перед ней, как темное пятно, которое помешает счастью, если бы оно выпало на ее долю. Она умеет любить и может полюбить, она сумела бы наградить!) своего избранника не только нежностями любящего сердца" но и прелестью талантливого женского ума. Но человек, который ей отдаст себя, который соединит свой путь с ее путем, должен будет принести страшную жертву -- он должен будет примириться с тем, что ее прошлое омрачено, что сзади его там, где-то ведомый или неведомый ему, живет человек, надругавшийся над его женой, смертельно оскорбивший ее, замаравший ее когда-то непорочное имя. Сумеет ли избранный простить? Как перенесет он часы признания, которыми ей придется отравить первые же дни их счастья? И если он все простит ей,-- действительно ли он примирится с пережитым, и оно, вопреки его словам и, может быть, даже клятвам, не будет носиться перед ним, отравляя дни их семейного мира? Может быть, не раз, не два, слушая ее Полные любви и ласки речи, он будет сравнивать их с теми, что расточала она другому, отдаваясь ему, как жертва, и сложное чувство ревности и оскорбленного самолюбия исказит его черты... Такие думы заставляли ее считать неисполнимым ее право на светлый семейный очаг, унижали ее в ее собственных глазах. Под влиянием этого внутреннего протеста она, что казалось другим кокетством и только кокетством, так охотно окружала себя поклонниками, так часто выслушивала их действительные и мнимые предложения руки и сердца.

Самоуважение заставляло ее верить в то, что она, может быть, честно любила, жажда семейного очага побуждала отвечать на внимание вниманием, а ошибки прошлого обуславливали неуверенность во взаимности, заискивание перед всеми, кто был, видимо, равнодушен к ней. Приходилось, кажется, идти далее. Эти, обещавшие в будущем титул мужа, но встречавшие, точно сговорившись, на пути своем разные препятствия, были мужчинами, были нетерпеливы в своей страсти. Чтобы не потерять избранника, не потерять надежды на счастливый исход, она, по ошибкам прошлого изучившая обычную натуру мужчины, сама идет навстречу их желаниям, идет и, как показал опыт, ошибается, запутывается и все ниже и ниже падает в своих собственных глазах.

Это не могло не отозваться на нервах, на характере Висновской. А к этому прибавьте те изводящие душу условия, среди которых проходит жизнь артистки театрального искусства. Знаю, что меня назовут за это ретроградом, не умеющим прозреть чистого идеала сквозь туманы действительности, но действительность только и может объяснить многое туманное и неразгаданное в личности покойной и в роковой развязке ее встречи с подсудимым.

Как артистка, она не могла относиться с суровой недоступностью к массе поклонников и ухаживателей и незаметно развила в себе качество, так неизбежное при подобном антураже, она переродилась в кокетку, в ту опасную кокетку, обращение которой с ухаживателями могло одновременно кружить головы многим, лишая их самообладания и умения отличать в ее отношениях любезность от взаимности. Темным пятном лежит на ее личности этот бьющий в глаза всем её



наблюдательным и серьезным знакомым дефект, но он отчасти вызван отрицательными сторонами сценической профессии. В противоположность поэту, художнику звука, кисти и резца, артист не может ограничиться узким кругом ценителей, стоящих на высоте культуры, не может успокоиться на мнении немногих при полном молчании безучастной и чуждой художнику толпы; артист работает перед зрителем всех ступеней развития, в театр открыт доступ всем и каждому, и самый характер искусства делает его заманчивым для зрителей любого умственного и нравственного развития. Тогда как поэт и художник работают в тиши, замкнутые в своем рабочем уединении, и отдают себя на суд уже тогда, когда настроение ценителей может повлиять на будущую, а не на совершившуюся уже работу, артист сцены творит свое дело на глазах всех, под шум одобрения или неодобрения и, что всего тяжелее, под шум одобрения, где голоса толпы могучее и звучнее, чем голоса ценителей, где от этого шума толпы зависит материальный успех дела и положение артиста. Поневоле артист иначе относится к зрителю, чем его родичи по духу, поневоле артистка снисходительнее к смелым посетителям театра, видя в них зачинщиков оценки ее таланта, могущих или одобрить или нагнуть" уныние на нее в момент художественной работы.

Но и это еще не все. Художники -- не актеры, они могут работать в часы свободного подъема духа. Они могут отойти от стола, полотна и инструмента, если душа их смущена или утомлена житейскими скорбями, не гармонирует с задуманным делом. Они могут передохнуть и приступить снова к труду в любую минуту дня и ночи. Актер -- не то: ни в выборе пьесы, ни в часах отдыха и труда он не властен; когда взвился занавес театральный, он должен быть тем, чем велит быть ему роль, как бы ни были противоположно настроены струны его души... Нет ни отсрочки, ни выбора. Любая природная мощь, любая нервно счастливая организация расшатываются. Молодая женщина, как Висновская, игравшая чуть не ежедневно, утомленная и трудом и своим внутренним разладом, не могла выдержать долго; она должна была в годы, когда с ней встретился Бартенев, быть уже разбитой натурой. Такой она и была. То не знающая отдыха работница, то ловкая кокетка, очаровывающая одновременно нескольких, то мечтательница о семейном очаге, то рабыня чужих страстей, то вдохновенная артистка, то стремящаяся сделать из своего искусства блестящую авантюру с целью добиться прочного материального положения... В это время с ней в фойе театра знакомится Бартенев. Знакомство это не могло произвести на нее глубокого впечатления. Бартенев, как вы сами видите, не из тех, которым суждены победы над представительницами прекрасного пола. Маленький, с обыкновенной, некрасивой внешностью, с несмелыми манерами -- что он ей? Другое дело она: красивая, блестящая артистка. Его к ней повлечет, ее к нему едва ли.

Он делает ей визит, он повторяет его... То же делают многие. Висновская, как опытный вождь, вербующий армию, записывает его в ряды своей партии, и только поэтому открывает ему двери своего дома, не чувствуя ни повода, ни побуждений отличать его визиты от других или ждать их с нетерпением молодости и любви.

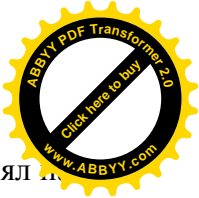
А он бывает все чаще и чаще... засиживается, робко теряется при ее взгляде, теряет и тот ум, что ему дан. Куртизанка, падшая, женщина, стала бы смеяться над этой любовной сентиментальностью и пошла бы либо навстречу ей, если бы это входило в ее планы, либо прогнала бы вздыхателя, мешающего ей жить, как ей хочется. Но Висновская не куртизанка, не падшая женщина. Она понимает чувство Бартенева, уважает его в нем. Она не может отвечать на него; служительница прекрасного искусства, она не может и в области привязанностей остановиться на чем-либо внешне не эстетическом; но глубина его привязанности и не оскорблявшее ее даже намеком на что-либо грязное чувство молодого человека льстит ей. Она его терпит и на его робкие речи отвечает бессодержательными и



привычными фразами кокетства, благо они вошли уже в характер, и довольна тем, что эти фразы утешают гусара, сводят его с ума, греют его, может быть, не привыкшего к таким речам. Она не ошиблась, Бартенев ездил к ней не с целью мимолетного успеха, он предложил ей руку... Этим предложением она была польщена: гордость и самолюбие ее нашли в нем -- рядом с скорбными чувствами, что она не дождалась лучшей, завиднейшей доли -- и удовлетворение: ее ценят, ее уважают, считают за счастье соединить ее руку со своей... И потому-то это предложение так облегчило ее тяжелое состояние духа. В это время уже стало замечаться ухудшение ее отношений к печати и к обществу. Ей уже начали приходить в голову мысли о том, что рано или поздно молодость должна неминуемо пройти, а талант, как бы он велик ни был, вместе с молодостью может иссякнуть. В такое время, в тяжелые минуты горьких испытаний, раздражения и сильного физического и нравственного утомления всякое хорошее известие принимается охотнее. Это и понятно. Ведь человек, который видит перед собой смерть, хватается за указанный ему луч надежды, как за прочный якорь спасения. Точно так же Висновская, не чувствуя любви к Бартеневу, приняла его предложение с благодарностью. В этом предложении она видела надежду на спасение. А Бартенев был серьезно намерен жениться. Правда, он не говорил отцу о своем намерении, хотя и обещал Висновской сделать это, но это еще несколько не говорит против него. Отец его строг, и он боялся его. Очень естественно, что, находясь в Варшаве, он находился под влиянием Висновской, но как только он вышел из-под этого влияния, как только выехал в отпуск к отцу, так тотчас же, по мере удаления от Варшавы, его начал все более и более охватывать страх перед грозным отцом. Ничего нет невероятного в том, что отец Бартенева никогда не дал бы согласия сыну жениться на актрисе. Наверно и среди нас многие пришли бы в смущение, если бы сын кого-либо из нас сказал, что он намерен вступить в брак с актрисой. Известно, что браков с актрисами избегают даже многие страстные любители искусства. Бартенев знал это и понимал прекрасно. Он не забывал при этом, что между ним и Висновской существует племенная и религиозная рознь, которая должна послужить одним из главных препятствий для того, чтобы получить от отца разрешение на брак. Вот почему по приезде к отцу он ничего не говорил ему о своем намерении. Вместе с тем он ей писал, что отец не дает своего согласия на брак. На первый взгляд такой поступок может показаться странным, но в сущности странного в нем нет ничего. Он просто не решился сказать ей правду, потому, что был влюблен в нее до безумия. У него не хватило духу признаться ей в своей уверенности, что отец не дал бы ни за что своего согласия и что просить этого разрешения он не решался: все равно это был бы напрасный труд. Ему казалось, что если он будет откровенен, если скажет всю правду, то она подумает, что он - считает ее не заслуживающей быть его женой и что самое предложение он делал ей с задней мыслью, -- словом, что и он такой же, как и все остальные. Прежде всего он боялся этой неправдой оскорбить ее, боялся, чтобы она не отшатнулась от него и не удалила его от себя. Возвратившись от отца, он не прекращает своих визитов к ней; он не перестает верить в ее нравственную чистоту, считает ее святой, ставит ни во что слухи, которые втаптывают ее в грязь, и даже обижается на товарищей, если они позволяют себе намеки на ее доступность. Он считает ее совершенно не повинной в тех толках, которые распространяются о ней в обществе, и всю вину сваливает на окружающих ее. Он любит ее и убежден, что всю грязь, которой пачкают ее репутацию, он оставляет окружающим, а ее чистая, незапятнанная натура остается на долю ему. Он приготовил ее к мысли о том, что брак невозможен; но при этом он старался поставить себя так, чтобы она могла смотреть на него не как на любовника, а как на мужа, который не имел возможности дать фактическим отношениям природы



освящение религии не потому, что он этого не хочет, но потому, что чужая воля мешает ему. Если он хотел и требовал, чтобы она отдалась ему и принадлежала ему, то исключительно, как человеку, который питает к ней горячую любовь. Да простит меня подсудимый, но я не верю, чтобы он имел успех у женщин. Нам неизвестно до сих пор, чтобы у него в жизни был какой-либо роман, а если, может быть, и был, то, вероятно, он мог похвастать успехом только у женщин низшего разряда. Я думаю поэтому, что роман с Висновской был первый серьезный роман в его жизни, где он впервые увидел или, может быть, ему показалось, что им заинтересовалась умная и красивая женщина. Естественно, что он дорожил ее вниманием к нему, ценил его высоко и был этим вниманием горд перед другими. Ему казалось, что их взаимная любовь не только не будет компрометировать ее, но, наоборот, принесет ей даже пользу: из ее передней исчезнут люди, для которых безразлично, отвечает она им взаимностью или нет. Он стремился к тому, чтобы устранить этих людей и освободить ее от них. Все это были лица, привыкшие к одним легким победам и понимающие только быструю капитуляцию. Бартенев был среди них иной человек, он признавал только одно -- сдаться. Таково было отношение Бартенева к Висновской. Охваченный отуманившей его страстью, он млел, унижался перед ней; он забыл, что мужчина, встречаясь с женщиной, должен быть верен себе, быть представителем силы, ума и спокойствия, умеряя нетерпение, сдерживая воображение, помогая слабости женщины. А он лишился критики и только рабски шел за ее действительной и кажущейся волей, губя себя и ее этой порывистостью исполнения. Висновская более, чем кто-либо другой, не годна была к роли руководителя, нуждалась, наоборот, в контролирующей заботе о себе. Ее сценическими эффектами воспитанная фантазия развила в ней привычку переносить в действительную жизнь театральные формы: блеск, бьющий в глаз наряд, трагические позы -- она не оставляла и дома. Оттуда же перенесла она в частную жизнь свою любовь к разговорам о смерти. Ведь на сцене это так хорошо выходит, так обаятельно действует на зрителя, так интересна бывает артистка, когда в роли Офелии или Дездемоны, в цветах или вся в белом появляется она перед зрителем, за несколько минут до своей смерти. А затем, утонувшая или убитая, она по окончании пьесы под шум залы, вновь выходит и принимает лавры и рукоплескания. Вот эту-то эффектную, театральную смерть -- не страшную, красивую любила Висновская и пугала ею своего обожателя, драпируясь в знакомые фразы. А Бартенев именно этого-то и не понимал. Она была для него идеалом, а каждое слово ее он принимал на веру, принимал серьезно, не обсуждая и проникаясь глубоким уважением. Мало-помалу она приучает его, и он проникается ее идеями; он сам начинает думать и говорить о смерти и запасается ядами и револьвером. Но он делает это не для эффекта, не для рисовки, а серьезно. Он делается в ее руках полнейшим автоматом; он повинует ей слепо. Она велит достать и принести яд -- он исполняет. Она требует револьвер -- он приносит. Я убежден, что две помеченные свидетелями сцены с револьвером были плодом этого диссонанса в отношениях к орудиям смерти Висновской и Бартенева. Она играла -- он жил. Раз он приложил револьвер к своему виску и ждал команды, но Висновская, довольная эффектом, удержала его, иначе он бы покончил с собой. Довольно было одного слова: "Что будет со мной, когда у меня, в квартире одинокой женщины, найдут самоубийцу". Другой раз револьвер был приложен уже к ее виску. Случай этот знает Мишуга. Легко убедиться, что это было не нападение Бартенева на Висновскую. Если бы это было так, то крик неожиданности и испуга привлек бы к ней сидевшего в соседней комнате Мишугу; но мы знаем, что она вышла к последнему с пистолетом в руках, и только некоторая бледность ее говорила о том, что она взволнована. Можно себе представить эту сцену так: в разговоре о смерти, в сотый раз повторяя свою любимую тему, Висновская сказала



ему: "Если любишь, убей меня и докажи любовь". Раб ее слов сейчас же поднял у нее револьвер. Эта решимость взволновала ее, но так как она была вызвана ее приказом, а не была неожиданной выходкой, то Висновская и не кричала и не звала на помощь.

На этом кончим историю их отношений до 26 марта. Перейдем к этому дню, так как, по словам Бартенева, с этого дня их отношения существенно изменились. Так ли это? Есть серьезные данные, свидетельствующие, что мы можем верить Бартеневу и в этом: 26 марта 1890 г. между Бартеневым и Висновской происходит обмен колец. Бартенев говорит, что в этот день она принадлежала ему. Свидетели нам говорят, что с этого дня их отношения стали нежнее и лучше. Свидетельница Штенгель слышала разговор на "ты", и это "ты" имеет важное значение. Уже из одного чувства стыдливости женщина никогда не скажет мужчине "ты" при посторонних. Она начинает говорить так только наедине с ним, но это становится привычкой, и если при посторонних нечаянно прорвется это неосторожное "ты", то оно имеет многозначительное значение. Правда, среди артистов принято говорить друг другу "ты", но ведь Висновская сказала это слово не товарищу по сцене, не артисту, а Бартеневу. Однако есть предположение и противоположного свойства: говорят, что до самого дня убийства Бартенев был чужим Висновской. Поэтому объяснение Бартенева нуждается еще в подкрепляющих данных; оно нуждается в них и потому еще, что установка взгляда на этот момент важна для понимания момента самого преступления. Висновская, по моему мнению, могла незаметно приучить себя к Бартеневу. Ведь он один относился к ней с уважением, которого не было у других; он так долго страдал; он, по словам его, ей сказанным, не по своей воле не может быть ее мужем: он не на словах, а на деле готов был расстаться с жизнью, если она не будет его подругой. Это дало место состраданию, жалости к нему, а эти чувства часто с успехом заменяют то, которое она не могла воспитать в себе. Различие этих чувств от любви -- некоторая снисходительность к предмету сожаления в противоположность уважению, какое внушает тот, кто вселил любовь. А к этому нас и приводит свидетельство Залесского, умевшего со всей тонкостью художника подметить очень важные черты в отношениях Висновской и Бартенева в период с 26 марта по день преступления: раз он заметил, что сказанная ему Висновской дата отъезда ее за границу совпала с датой, сообщенной ему Бартеневым. Это навело его на мысль, что у Бартенева и Висновской -- общие интересы, общие планы на жизнь. Другой раз, когда, по случаю какого-то литературного праздника. Залесский предложил и Висновской участие в обеде, она, по его словам, робко и смущенно, как-то нежно и заискивающе спросила его: "А можно со мной быть и моему гусарику"... что убедило его, Залесского, что он ей не чужой, не посторонний, а уже свой, близкий человек. Приняв за доказанное, что отношения Висновской и Бартенева с 26 марта и позднее стали близкими, я теперь перейду к изучению той наклонной плоскости, по которой несчастные Висновская и Бартенев шли к своей развязке.

Для Бартенева, полагавшего, что с момента близости отношений начнутся для него золотые дни спокойствия, наступили, напротив, дни новых и новых волнений. Чем-то холодным, нерадующим веяло от этой близости. Игра на сцене уносила все силы Висновской; домой она приходила утомленная, недовольная действительным и кажущимся нерасположением прессы, действительными и мнимыми издевательствами над ее романом со стороны закулисного мирка. В такие минуты Висновская, если даже она была близка к Бартеневу, не могла успокоить его теплотой отношений. Вечно задумчивая, вечно смотрящая куда-то мимо интереса момента, она нехотя отвечала на ласки. Подымалась буря сомнения, недоверия" буря тем ужаснее, что она имела объективное основание. Тогда, теряя равновесие, Бартенев искал успокоение в вине и вечеринках с имевшими вход в квартиру



Висновской, находя в этом обществе попеременно то пищу для своей ревнивой любознательности, то ласкающие его темы разговоров. А Висновской, связавшей себя не любя, запутавшейся в противоречиях слов и чувств, теперь настояло придумать средства отделять и смягчать тяжелые минуты случившегося романа. К этому моменту, вероятно, относится ее мысль о приготовлении особой квартиры, которая успокоит Бартенева, а вместе даст повод сократить его тяжелые визиты в ее дом, тяжелые -- раз близости отношений, допущенных Висновской, не соответствовало с ее стороны желание их.

Я сказал вам, что Висновская была разбитой натурой. Полагаю, что это аксиома настоящего процесса. У таких натур нет цельности ни в поступках, ни тем более -- в проектах и мечтах. Поставляемые цели и предпринимаемые ими средства, помимо неблагоприятных обстоятельств, разбиваются о собственное взаимное противоречие.

Случилось то же и тут. Она сошлась, видя в этом исход одним неудачам, и в то же время недовольна и наличным фактом, поэтому ищет средства против него в уединенной квартире. Но в то же время недовольная и всей суммой этих мер и тяготясь ими вообще, она мечтает о поездке в Америку, как средстве выйти победоносно из настоящего гнета. Но и об этой поездке у ней двоятся мечты: судя по свидетельству Залесского, можно думать, что в часть этого плана был посвящен Бартенева, собиравшийся в заграничный отпуск и мечтавший о службе при посольстве; но рядом сформировался и другой план -- поездкой покончить с Бартеневым и, разорвав с ним, вернуться в Варшаву уже через год, когда уляжется история и отвыкнут от нее прошлогодние поклонники вместе с Бартеневым.

По всей вероятности, Бартенева кое-что узнал про второй план в тот день, в который он прислал ей письмо и вещи, оставленные ею у него на память (портреты, зонтик), вместе с ее записками.

Разрывая с Висновской всерьез или самообольщаясь в решительности своего поступка, оскорбленный тем, что, значит над ним смеялись, когда посылали его приискивать квартиру, отвлекая его доверчивую натуру вымышленным опасением огласки связи в постоянной квартире покойной, Бартенева писал, что он покончит с собой. Угроза и обстановка ее, выразившаяся в отсылке всего, чем дорожил он, испугали Висновскую. Мысль о том, что человек этот покончит из-за нее, что она увлекла его так далеко и вдохнула в "его такую пагубную страсть, поразила ее. Она в полночь нанимает карету и едет к нему, чтобы не брать на душу чужой жизни. Он жив, он выходит к ней, и она, сажая его в свой экипаж, на этот раз словами, сказанными искренне взволнованным голосом, рассеивает его сомнения и едет с ним посмотреть квартиру, куда она, сегодня усталая, завтра непременно придет, и они заживут украдкой, общей жизнью.

От ревности не оставалось ничего... Завтра, если сегодняшнее общение не окажется обманом, опять вспыхнет сомнение, но до завтра он по-своему счастлив и горд.

Завтра пришло, и наступил условный час. Висновская не обманула его, а, напротив, явилась с явным намерением исполнить его желания и посещать эту квартиру. Она захватила с собой даже принадлежности спального наряда (пенюар). На ласки Бартенева она отвечала лаской. Время проходило среди веселых разговоров и лакомого ужина. Соседи не слышали ни ссоры, ни спора, ни крика о помощи. Ничего не давало повода вспыхнуть приступу ревнивого сомнения; напротив, делалось все, что вырывает это сомнение. Если же, тем не менее, это свидание закончилось убийством, которое, как грозный и неоспоримый факт, стоит перед нами и требует своей оценки, то нужно понять его.

Ревность к Палицыну или из-за Палицына -- вот первое предположение. Оно не выдерживает критики. Если бы Висновская интересовалась генералом и



предпочитала его Бартеневу, она не запуталась бы в своей истории: рассчитывая на силу и положение его, она не нуждалась бы заискивать и в Бартеневе.

Если бы Бартенев ревновал генерала Палицына и ненавидел его за ухаживание за Висновской, смерть могла грозить генералу, а не Висновской, особенно в минуты, когда она доказывала свое равнодушие к генералу, если он и на самом деле ею интересовался.

Ревнивец может убить отталкивающую его женщину, это правда; но в том-то и дело, что она только что полнее и, по-видимому, безогляднее отдалась ему. Вчера она, чего не делала раньше, приехала к нему в казармы ночью, подписывая, таким образом, приговор о себе, как гласной подруге Бартенева; сегодня она у него в квартире... Все это разгоняло, а не надвигало тучи сомнений у подсудимого.

Отсутствию мотива с его стороны соответствуют и внешние данные: яд и орудия убийства везет тот, кому они нужны для задуманной цели. Но мы не имеем ни одного сносного доказательства, что их принес Бартенев. Наоборот, прислуга Висновской видела, револьвер был завернут в сверток при уходе Висновской из дому; она уже узнала яды, найденные в комнате убийства, как бывшие в руках Висновской. Попытка противопоставить свидетелей противоположного -- не серьезна. Если портниха, к которой заезжала Висновская, ехав к месту своей смерти, не видела у нее при входе и выходе из магазина свертка с револьвером, то не надо забывать, что сверток, не нужный для разговоров с портнихой, мог быть оставлен у извозчика, с которым ехала к Бартеневу покойная. Но зачем ядам и револьверу быть у Висновской и зачем ей везти их в общую квартиру? Конечно, не для убийства Бартенева и не для самоубийства; у нее была иная причина и иной возможный мотив. Вы знаете, что и Висновская, и Бартенев давно играли в смерть, прежде чем один из них нашел настоящую. Смертью они испытывали и пугали друг друга. Но Висновская еще не хотела настоящей, заправской смерти, и, когда поддавшийся ее настроению Бартенев хотел покончить с собой, она оставила его у себя, как бы уничтожая одну из вероятностей его расчета с жизнью. Накануне, когда он вновь заговорил на тему, ею же в нем развитую, она остановила его, обещая утешами жизни успокоить его.

Со своей стороны, отдавшийся ей до самозабвения Бартенев, принимавший ее меланхолическую игру в смерть за твердую решимость, тревожился за нее, особенно когда, подчиняясь ее воле, он сам же достал ей яды. Вот, порешив посетить таинственную квартиру и тем привязать Бартенева к жизни, Висновская представила себе сцену, которая должна выбросить у Бартенева мысль о смерти и обеспечить ее от принятия на душу греха за чужую жизнь. Она несла ему его револьвер с целью возвратит его и выразить уверенность, что теперь он будет жить, ибо причины, наводящие на самоубийство, устранены. "Но ведь и он будет требовать от меня доказательств, что я нашла в союзе с ним интерес к жизни и изгнала мечты о смерти. Вот я отдам ему мои яды, как доказательство, что наши невзгоды миновали".

Свидание участников драмы шло обычным путем бытовых сцен. Они весело разговаривали, и она позволяла ему ласкать себя. Небогатая внутренними силами натура Бартенева вся ушла в самоуслаждение. Ему казалось, что теперь нет никакого интереса, о котором можно бы было думать и говорить, кроме взаимного обладания. В сотый раз переговаривал он ей избитые любовные темы и не понимал, как может ей приходиться на ум что-либо постороннее и чуждое интересам данной минуты. Но не то переживала Висновская. Не нося в сердце ничего к Бартеневу или только снисходительное сожаление, переходившее в привычку к нему, как к своему человеку, нервно разбитая впечатлениями прошлой ночи и излишествами настоящей, увлекаемая образами своей фантазии в массу тяжелых ощущений не настоящими или грядущими, а возможными только в будущем



осложнениями своей жизни, Висновская незаметно дала иное настроение их свиданию.

Если она и порешила было помириться с положением тайной подруги Бартенева и связать с ним свою судьбу, то, думалось, ей, не поведет ли это к новым и новым несчастьям: сегодня он по-своему, счастлив, верит ей и верит в свою решимость рано или поздно дать ей свое имя и положение, но пройдет несколько времени, привыкнет он к своему новому положению, безвольный и слабый, он не найдет сил противоречить отцу и не выйдет из того ложного положения, в которое ее сегодня ставит. А там, успокоившись, он может быть, иными глазами посмотрит на ее прошлые ошибки, иначе отнесется к ним и, как все, упреками и угрозами отравит ее жизнь...

А между тем, что же она делает? Гласно -- ведь недолго же на самом деле продержится тайна их связи -- разорвав со своими друзьями по сцене и профессии, гласно предпочтя чужого своим, она приобретает массу недругов и недоброжелателей. Сцена уходит от нее.

Уехать? куда? в Америку? Но ведь не так легко добыть славу на чужбине, не имея ни достаточных средств, ни достаточной подготовки, Уехать с ним? Но он будет только обузой для нее, да и не на что ему ехать.

Не все из того, что она переживала, она ему сказала. На словах, по вечной привычке ласкать словом своего поклонника, она выдвигала другую тему. Она говорила о том, что жизнь ее полна страданий, ибо то, что дается другим легко, ей достается путем страшных, жертв. "Вот я собираюсь далеко. Не думаешь ли, что мне это так и дается? -- Нет, мою свободу мне уступают дорогой ценой. Тот, кто меня отпускает, требует, чтобы я две недели прогостила у него в деревне". Зачем она это говорила и искренно ли жаловалась на то, о чем говорила -- ее дело. Не хочу догадываться о цели слов, но могу себе представить след, который они оставили в впечатлительном к слову Висновской Бартенева.

И вот оба неудачника, оба изломанные жизнью или ошибками воспитания, они начинают поддаваться влиянию любимой темы своих прошлых свиданий, один другого опьяняя мечтами вслух о могильном покое, о прекращении земных страданий и бесцельности жизни, о мрачном будущем их общей судьбы.

Не забудьте, что все это говорится в чаду винных паров и в утомлении эксцессами чувственных отношений.

Игра в смерть перешла в грозную действительность. Они готовятся к смерти, они пишут записки, кончая расчетом о жизнью. Мое дело доказать, что эти записки не результат насилия одного над другим, а следствие обоюдного сознания, что с жизнью надо покончить. Но прежде всего не забудем, что в желудке покойной найден опиум и констатированы следы употребления хлороформа.

Можно насильно застрелить, удушить или утопить, но насильно отравить, не вызывая у жертвы крика протеста, попыток борьбы -- нельзя. Отравы -- убийство тайное: ее дают обманом жертве, если она не хочет добровольной смерти. Вы знаете, что ни призыва на помощь со стороны Висновской, ни следов борьбы за жизнь с ее стороны не констатировано.

Записки, оставленные покойной и восстановленные из лоскутков, найденных в комнате, где произошло убийство, и сравнение их с записками, писанными Бартеневым, доказывают не насилие, а сговор Бартенева и Висновской к обоюдной смерти.

Вопреки мнению экспертов, я думаю, что оставшаяся целой записка писана позднее разорванных, что, следовательно, уничтожение последних -- дело рук покойной.

Единственное соображение экспертизы основано на том факте, несомненно верном, что записка целая писана хорошо очинённым карандашом, а уничтоженная



-- в порядке, указанном в акте осмотра -- карандашом, постепенно исписывавшимся.

Но, имея с собой перочинный нож или ножи для ужина. Бартенев и Висновская могли начать писать исписанным карандашом и починить его, когда он отказался далее служить им.

Моя собственная экспертиза, думается мне, вернее: она основана на изучении текста. За исключением записки к Палицыну о деньгах, прочие записки Висновской писаны к одному и тому же лицу и об одном и том же. Все они начинаются словами "человек этот" или заключают эту фразу в тексте. Во всех прощание с матерью и искусством и отсутствие какого-либо специального содержания, различающего их одну от другой и указывающего на особые цели каждой записки. Это одна и та же записка в неудачных редакциях, уничтоженная ради последней, удовлетворившей пишущую. Ясно, что чего-то добивалась покойная от себя, чем-то была озабочена, не находя долго подходящего выражения для предложенной цели.

Цель эту нам раскрыла одна подробность, здесь обнаруженная на суде. Покойную, говорят нам, не предали земле с последними обрядами церкви. Это глубоко печалит ее неутешную мать. Позволю себе догадку: покойная любила мать и даже в минуты смерти, приготовленной, по недостатку данных, не поддающимся удовлетворительному анализу припадками обоюдного разочарования жизнью, помнила о ней. Ее записки к Палицыну -- посильная забота о материальных нуждах старушки, ее другие записки -- попытка обставить свою смерть такими подробностями, чтобы истинная форма ее не обнаружилась и не дала повода заподозрить самоубийство или согласие на расчет с жизнью. Тогда ее похоронят, и ей по смерти и пережившей ее матери не будет тяжело.

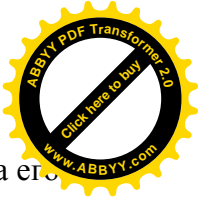
Вот, добиваясь удовлетворительной редакции своего последнего слова, редакции, замаскировывающей ее согласие на смерть, рвала Висновская неудачные записки, пока не остановилась на последней.

Что во время писания этих записок над ней не стоял человек, желающий только ее смерти, а рядом с ней сводил счеты своей жизни, это ясно из слов его записок. Подобно ей, он писал к родным и друзьям, подобно ей и он просил о последнем долге христианском, умоляя не видеть в нем самоубийцы и убийцы и высказывая упрек тем, кто не хотел его счастья.

Что над ней стоял не убийца, который уйдет, как только покончит с ней, а подобный ей неудачник, долженствующий тут же рядом с ней умереть, она не сомневалась. Во всех ее записках и помину нет об имени или фамилии Бартенева. Она называет его просто "этот человек", предполагая, что нет надобности указывать убийцу, ибо он будет тут же, рядом с ней покоиться, не признавая жизни без нее.

Что эти Бартеневские записки -- не измышление с целью спасти себя, что разорванные записки Висновской разорваны не им с той же целью -- это ясно. Желай Бартенев уничтожить вредные для него записки, то раз у него не хватило духа около трупа когда-то для него интересной женщины заниматься выбором документа, наиболее подходящего к цели самозащиты, неужели не сообразил бы он, что, вместо того, чтобы неудобные записки рвать в клочки и тут же кидать, у него в распоряжении лучшее средство: взять их с собой и бросить, разорвав в клочки, на улице. Ведь Варшава велика, и не станут же подбирать все бумажные клочки, валяющиеся на улицах города.

Говорят, что Бартеневские записки вымышленны, ибо одна из них -- к отцу -- упрекает последнего в том, в чем он даже и не виноват. Бартенев ведь с отцом о браке не говорил, отказа не получал, а следовательно, и упрекать отца ему не приходилось.



Правда. Но сын не говорил отцу о браке, потому что не мог рассчитывать на его согласие. Вероятно, во всем складе отношении отца к сыну, может быть, в его суровости или неуступчивости лежала причина боязни сына говорить с отцом на такую тему, и вот в последнем письме сын бросал отцу упрек за тот образ отношений, который делал невозможным со стороны сына даже попытку к просьбе о браке по его личной склонности, а не по одобрению отца.

Отчего же он, покончив с Висновской, сам остался жив? Да, это тяжелое обстоятельство в деле, лишаящее подсудимого того состояния, в каком мы не отказываем памяти несчастных убийц из-за любви, когда они тут же произносят над собой смертный приговор. Обвинение в трусости напрашивается* на язык. Но едва ли это так. Живя среди сверстников, подобно ему избравших своей профессией военное дело, дыша воздухом, в котором нет места боязни смерти, где готовность в необходимые минуты жертвовать своей жизнью -- долг, с которым не спорят, Бартенева не мог быть трусом.

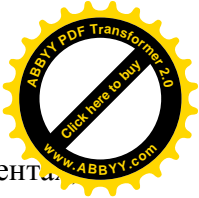
Иначе объясняю себе я то, что он остался живым. Бартенева весь ушел в Висновскую. Она была его жизнью, его волей, его законом. Вели она, он пожертвует жизнью, лишь бы она своими хорошими и ласкающими глазами смотрела на него в минуту его самопожертвования. Но она велела ему убить ее прежде, чем убить себя. Он исполнил страшный приказ. Но едва этот дорогой для него образ закрылся, едва печать смерти навсегда сомкнула ее глаза, в которые он так любил глядеть и догадываться о желаниях, их одушевляющих, чтобы поспешить исполнить их, он потерялся: хозяина его души не стало, не было больше той живой силы, которая по своему произволу могла толкать его на доброе и на злое, на отчаянный подвиг и на робкое молчание.

Что было потом, мы не знаем того. Сколько продолжался столбняк ужаса, когда он увидел, что он сделал, определить трудно. Но только не заботой о своем спасении был занят несчастный Бартенева. Не ненавистью, а какой-то нежностью звучали его слова, когда он сказал товарищу: "Я убил Маню".

Дальнейшее общеизвестно. Бартенева заявил о своем преступлении без всякой попытки избежать кары. Его показание, прочитанное здесь, дано без всяких советов или убеждения со стороны власти. Его он подтвердил и здесь, на суде. Можно относиться к тому или другому его объяснению, но нельзя уличить его даже в малейшей неправде рассказа. Он -- преступник, но он не призвал лжи на помощь к себе. Преступление его велико. О невменении зла в вину он не помышляет. Но было бы жестоко думать о том, как бы тяжелее и суровее применить к нему карающее слово закона. Было бы ошибкой думать, что в суровости задачи карающего правосудия и суровостью судья Приближается к намерениям законодателя. Нет, слово закона напоминает угрозы матери детям. Пока нет вины, она обещает жесткие меры непокорному сыну, но едва настанет необходимость наказания, любовь материнского сердца ищет всякого повода смягчить необходимую меру казни.

Еще не было примера, чтобы судье дозволялось, не удовлетворяясь указанными карами, просить об увеличении наказания. Но если особые обстоятельства дела возбуждают чувство сожаления к подсудимому, если обстановка преступления указывает на плетеницу зла и несчастья в ошибках, приведших подсудимого к преступлению, то возможно смягчение наказания.

В данных настоящего дела много этих смягчающих мотивов. Многие из них имеют за себя не только фактические, но даже и юридические основания. Если не точная буква закона, то либо цели его, либо мнения сведущих в праве людей, либо опыт чужих законодательств и подмеченная неполнота нашего права говорят о возможности менее сурового приговора. Мой товарищ по защите представит в кратком очерке доводы в этом направлении. Я, как вы слышали, ограничился



данными бытовой стороны дела, я говорил о тех пережитых Бартеневым моментах, которые разделяют вину преступления между ним и его жертвой. О, если бы мертвые могли подавать голос по делам, их касающимся, я отдал бы дело Бартенева на суд Висновской. Впрочем, оставленные ею записки отчасти свидетельствуют об ее взгляде на роковую развязку. "Человек этот, убивая меня, поступает справедливо, он правосудие",-- писала она. Я не хочу видеть в этих словах голос правдивой нравственной оценки занимающего нас события: Висновская не доросла до роли учителя морали. Но я хочу убедить вас собственными словами покойной, что она считала себя глубоко виновной перед Бартеневым, а это сознание -- основание между многими другими к пощаде подсудимого, так как убийцы не исключены из категории лиц, относительно которых допустимо снисхождение.

Вот и все, что я мог сказать за Бартенева. Обвинитель согласится со мной, что я был прав, сказав, что между нами нет непримиримых противоречий. Он требует справедливого приговора,-- я напоминаю и ходатайствую о сочетании в нем правды с милосердием, долга судьи с прекрасными обязанностями человеколюбия.

* * *

Бартенев был признан виновным в умышленном убийстве и приговорен к 8 годам каторжных работ. Однако по "высочайшему повелению" каторжные работы ему были заменены разжалованием в грядовые.

Дело Грузинского

Настоящее дело было рассмотрено Острогожским окружным судом 29--30 сентября 1883 г. Князь Г. И. Грузинский обвинялся в умышленном убийстве бывшего гувернера своих детей, впоследствии управляющего именем жены Грузинского -- Э. Ф. Шмидта.

Предварительным следствием было, установлено следующее.

Э. Ф. Шмидт, приглашенный Грузинским в качестве гувернера, очень быстро сближается с женой последнего. После того как Грузинский потребовал от жены прекратить всякие отношения с гувернером, а его самого уволил, жена заявила о невозможности дальнейшего проживания с Грузинским и потребовала выдела части принадлежащего ей имущества. Поселившись в отведенной ей усадьбе, она пригласила к себе в качестве управляющего Э. Ф. Шмидта. Двое детей Грузинского после раздела некоторое время проживали с матерью в той же усадьбе, где управляющим был Шмидт. Шмидт нередко пользовался этим для мести Грузинскому. Последнему были ограничены возможности для свиданий с детьми, детям о Грузинском рассказывалось много компрометирующего. Будучи вследствие этого постоянно в напряженном нервном состоянии при встречах с Шмидтом и с детьми, Грузинский во время одной из этих встреч убил Шмидта, выстрелив в него несколько раз из пистолета. Ф. Н. Плевако, защищая подсудимого, очень последовательно доказывает отсутствие в его действиях умысла и необходимость их квалификации как совершенных в состоянии умоисступления.



* * *

Как это обыкновенно делают защитники, я по настоящему делу прочитал бумаги, беседовал с подсудимым и вызвал его на искреннюю исповедь души, прислушался к доказательствам и составил себе программу, заметки, о чем, как, что и зачем говорить пред вами. Думалось и догадывалось, о чем будет говорить прокурор, на что будет особенно ударять, где в нашем деле будет место горячему спору,-- и свои мысли держал я про запас, чтобы, на его слово был ответ, на его удар -- отражение.

Но вот теперь, когда прокурор свое дело сделал, вижу я, что мне мои заметки надо бросить, программу изорвать. Я такого содержания речи не ожидал.

Много можно было прокурору спорить, что поступок князя не может быть ему отпущен, что князь задумал, а не вдруг решился на дело, что никакого беспамятства не было, что думать о том, что Шмидт со своей стороны готовит кровавую встречу и под этой думой стреляет в Шмидта,-- князю не приходилось. Все это -- спорные места, сразу убедиться в них трудно, о них можно потягаться.

Но поднимать вопрос, что князь жены не любил, оскорбления не чувствовал, говорить, что дети тут ни при чем, что дело тут другое, воля ваша,-- смело и вряд ли основательно. И уже совсем нехорошо, совсем непонятно объяснять историю со Шмидтом письмами к жене, строгостью князя с крестьянами и его презрением к меньшей братии -- к крестьянам и людям, вроде немца Шмидта, потому что он светлейший потомок царственного грузинского дома.

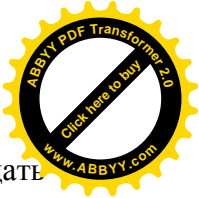
Все это ново, неожиданно, и я, бросив задуманное слово, попытаюсь ответить прокурору так, как меня наталкивает сердце, возбужденное слышанным и боязнью за будущее моего детища -- подсудимого.

Я очень рад, что судьбу князя решаете вы, по виду вашему,-- пахари и промышленники, что судьбу человека из важного рода отдали в руки ваши {Данным делом было внесено немало волнений в круги так называемого высшего светского общества России, так как на скамье подсудимых оказался один из членов этого общества. В качестве присяжных по делу выступали известные промышленники и крупные помещики ("пахари и промышленники" -- по выражению Ф. Н. Плевако). (Сост. Ред.).}

Равенство всех пред законом и вера в правосудие людей, не несущих с собой в суд ничего, кроме простоты и чистоты сердца,-- сегодня явны в настоящем деле. Сегодня, в стороне от большого света, в уездном городке, где нет крупных интересов, где все бы заняты своим делом, не мечтая о великих делах и бессмертии имени, на скамью обвинением посажен человек, которого упрекают в презрении к вам, упрекают в том, что он из стародавней, некогда властвовавшей над Грузией фамилии... и вам же предают его на суд!

Но мы этого не боимся и, не краснея за свое происхождение, не страшась за вашу власть, лучшего суда, чем Ваш, не желаем, вполне надеясь, что вы нас рассудите в правду и в милость, рассудите по-человечески, себя на его место поставите, а не по фарисейской правде, видящей у ближнего в глазу спичку, у себя не видящей и бревна, на людей возлагающей бремя закона, а себе оставляющей легкие ноши.

В старину приходящего гостя спрашивали про имя, про род, про племя. По имени тебе честь, по роду жалование. Подсудимому не страшно назвать себя, и краснеть за своих предков ему не приходится. Он из рода князей Грузинских, прямой внук последнего грузинского царя Григория, из древней династии Багратидов, занесенной в летописи с IV в. после Рождества Христова. При деде его Грузия слилась воедино с нашим отечеством, его дед принял подданство, и фамилия Грузинских верой и правдой служит своему царю и новому отечеству.



Несчастье привело одного из членов этого дома на суд ваш, я он пришел ждать вашего решения, не прибегая к тем попыткам, какие в ходу у сильных мира, к попыткам избежать суда преждевременными ходатайствами об исключении из общего правила, о беспримерной милости и т. п.

Дело его -- страшное, тяжелое. Но вы, более чем какое-либо другое, можете рассудить его разумно и справедливо, по-божески. То, что с ним случилось, беда, которая над ним стряслась,-- понятны всем нам; он был богат -- его ограбили; он был честен -- его обесчестили; он любил и был любим -- его разлучили с женой " на склоне лет заставили искать ласки случайной знакомой, какой-то Фени; он был мужем -- его ложе осквернили; он был отцом -- у него силой отнимали детей и в глазах их порочили его, чтобы приучить их презирать того, кто дал им жизнь.

Ну, разве то, что чувствовал князь, вам непонятно, адские терзания души его -- вам неизвестны.

Нет, я думаю, что вы -- простые люди, лучше всех понимаете, что значит отцовская или мужнина честь, и грозно охраняете от врагов свое хозяйство, свой очаг, которым вы отдаете всю жизнь, не оставляя их для суеты мира и для барских затей богатых я знатных.

Посмотрим, как было дело и из-за чего все вышло.

Чтобы решить: дороги ли были князю жена и дети, припомним, как он обзавелся семьей и жил с ней.

20 лет тому назад, молодой человек, встречается он в Москве, на Кузнецком мосту у Трамблэ, кондитера, торговца сладостями, красавицу-продащицу, Ольгу Николаевну Фролову. Пришлась она ему по душе, полюбил он ее. В кондитерской, где товар не то, что хлеб или дрова, без которых не обойдешься, а купить пойдешь хоть на грязный, постоялый двор,-- в кондитерской нужна приманка. Вот и стоят там в залитых огнями и золотом палатах красавицы-продащицы; и кому довольно бы фунта на неделю, глядишь -- заходит каждый день полюбоваться, перекинуться словом, полюбезничать.

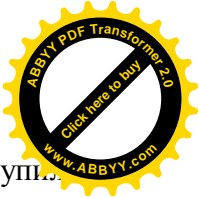
Конечно, не все девушки там не строги: больше хороших, строгих. Но, уж дело их такое, что на всякое лишнее слово, на лишний взгляд обижаться не приходится: им больно, да хозяину барыш,-- ну и терпи!

А если девушка и хороша и не строга, отбоя нет: баричи и сыновья богачей начнут охотиться за добычей. Удача -- пошлют до нового лакомого куса; шалят наперебой; но, шаля и играя, они смотрят на ту, с кем играют, легко. Они отдают ей излишки своего кошелька, дарят цветы и камни, но, если поддавшаяся им добыча заговорит о семье и браке, они расхохочутся и уйдут. Если добыча становится матерью, им какое дело: заботу о ребенке возьмет на себя воспитательный дом, бабка, есть рвы, куда подкидывают, есть зелья, которые выгоняют из утробы... Им какое дело!

Князь иначе отнесся к делу.

Полюбилась, и ему стало тяжело от мысли, что она будет стоять на торгу, на бойком месте, где всякий, кто захочет, будет пялить на нее глаза, будет говорить малопристойные речи. Он уводит ее к себе в дом как подругу. Он бы сейчас же и женился- на ней, да у него жива мать, еще более, чем он, близкая к старой своей славе: она и слышать не хочет о браке сына с приказчицей из магазина. Сын, горячо преданный матери, уступает. Между тем Ольга Николаевна понесла от него, родила сына-первенца. Князь не так отнесся к этому, как те гуляки, о которых я говорил. Для него это был его сын, его кровь. Он позвал лучших друзей: князь Имеретинский крестил его.

Ольга Николаевна забеременела вновь. Ожидая второго, привязавшись всей душой к первому сыну, князь теперь уже сам знал, что значит быть отцом любимого детища от любимой женщины, а не от случайной встречи с



легкодоступной продавщицей своих ласк. Отец в нем пересилил сына. Он вступил в брак. Мало того, он бросился с просьбой о милости, просил государя усыновить первенца. Вы слышали про это из той бумаги, которую я подал суду. Само собой разумеется, что на полную любви просьбу последовал ответ, ее достойный.

Что ни год, то по ребенку приносила ему жена. Жили они счастливо. Муж берег добро для семьи, подарил жене 30 000 руб., а потом, чтобы родные не говорили, что жена не имеет ничего своего, Купил имение на общее имя, заплатил за него все, что у него было.

Бывали у них вспышки. Но разве без вспышек проживешь. Может быть, жена его, нет, нет, да и вспомнит привычки бывшей жизни... А мужу хотелось, чтобы она вела себя с достоинством, приличнее... Вот и ссора.

С честью ли, с уважением ли к себе и к мужу несла свое имя и свое звание жены и матери княгиня Грузинская до встречи со Шмидтом -- я не знаю; у нас про это ничего сегодня не говорили. Значит, перейдем прямо к этому случаю.

Дети подрастали. Князь жил в деревне. Надо было учителя. На место приехал Шмидт. Что это доктору, немецкому уроженцу, Шмидту, вздумалось ограничиться учительским местом.-- не знаю. Студент, семинарист могли бы заменить его. Не с злой ли думой он прямо и пришел к ним, почуяв возможность обделать дело. В самом деле, за все хватался он: и практиковал, как лекарь, и каменный уголь копал, как горный промышленник. Что ему в учительстве.

Подрастал старший сын -- Александр. Князь повез его в Питер, в школу. Там оставался с ним до весны. Весной заболел возвратной горячкой. Три раза возвращалась болезнь. Между двумя приступами он успел вернуться в Москву. Тут вновь заболевает. Доктора отчаиваются за жизнь. Нежно любящему отцу, мужу хочется видеть семью, и вот княгиня, дети и гувернер Шмидт едут. Князь видится, душа его приободрилась и приобрела энергию: болезнь пошла на исход, князь выздоравливал.

Тут-то князю, еще не покидавшему кровати, пришлось испытать страшное горе. Раз он слышит -- больные так чутки -- в соседней комнате разговор Шмидта и жены: они, по-видимому, перекосятся; но их ссора так странна: точно свои бранятся, а не чужие, то опять речи мирные... неудобные... Князь встает, собирает силы... идет, когда никто его не ожидал, когда думали, что он прикован к кровати... И что же. Милые бранятся -- только тешатся: Шмидт и княгиня вместе, нехорошо вместе...

Князь упал в обморок и всю ночь пролежал на полу. Застигнутые разбежались, даже не догадавшись послать помощь больному. Убить врага, уничтожить его князь не мог, он был слаб... Он только принял в открытое сердце несчастье, чтобы никогда с ним не знать разлуки.

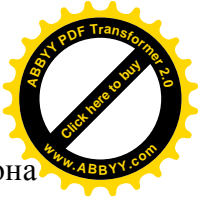
С этого дня князь не знал больше жены своей. Жить втроем, знать, что ласки жены делятся с соперником, он не мог. Немедленно усладить жену он тоже был не в силах: она мать детей. Силой удалить от княгини Шмидта было уже поздно: княгиня теперь носила имя, дававшее ей силу, владела половиной состояния и могла отстоять своего друга.

Так и случилось.

Князь отказал Шмидту, а княгиня сделала его управляющим своей половины. В дом к князю при нем он не ходил, но жил в той же слободе, к которой прилегают земли Грузинских.

А когда князь уезжал, Шмидт не расставался с княгиней от 8 часов утра и до поздней ночи.

В это-то время он внушил княгине те мысли, которые обусловили раздел. Княгиня сумела заставить князя поспешить с разделом, причем все расходы на него были мужнины.



Чужая власть в руках, зная, что князь не прочь помириться с женой, лишь бы она бросила связь со своим управляющим, немцем Шмидтом, последний и княгиня не стеснялись: они гласно виделись в квартире Шмидта, гласно Шмидт позволял себе оскорблять князя; мало этого: княгиня в ожидании, когда кончится постройка приготавливаемого для нее в ее половине имения домика, съехала на квартиру в дом священника, из окон в окна с домом князя, от него саженой за 200, от Шмидта в двух шагах. Тут, на глазах всей дворни, всей слободы, всех соседей, на глазах детей, оставшихся у отца, они своим поведением не щадили ни чести князя, ни его терпения, ни его сердца.

Оттуда они переезжают в Овчарню, в тот домик, который выстроил Шмидт княгине. Там-то и случилось несчастье.

Но прежде чем голубки переберутся в свою Овчарню и заворкуют, вспоминая, как они ловко обманули князя, отняли у него его добро, надругались над его мягкостью и будут замышлять, как им захватить еще и еще,-- посмотрим, как следует отнестись к одному делу, на которое так сильно напирает прокурор: к письмам князя к солдатской дочке -- Фене. Уж очень эти письма ему нравятся: он ни за что не хотел, чтобы их не читать, наизусть их повторял в своей речи. Займемся и мы с вами, рассудим: какую они важность имеют в этом деле.

Князь пишет ласково, как к своей. Князь признается, что у него с Феней было дело. Но письма эти писаны в июле и августе 1882 года, а князь разошелся с женой, как с женой, еще в 1881 году, весной, когда узнал об измене. Свидетель, князь Мещерский, был у князя Грузинского за пять месяцев до несчастья,-- значит, в мае 1882 года; княгиня тогда жила уже не с князем, а в слободе, рядом со Шмидтом, а при визите, сделанном Мещерским княгине, Шмидт держал себя как хозяин в доме ее; в то же время, по свидетельству старика управляющего, немца же Карлсона, Шмидт, у которого гостил свидетель, ночью, не одетый ходил в спальню к княгине... Значит, во время отношений князя к Фене жена была ему чужой. Правда, она приходила в дом мужа, к детям, забирала вещи, но женой ему не была, потому что жила со Шмидтом. Что же. Как было быть князю. Он мужчина еще не старый, в поре, про которую сказано: "Не добро быть человеку едину...". Он имел и потребность, и право на женскую ласку. Тот муж и та жена, которые, будучи любимы, изменяют, конечно, грешат пред богом, но муж, брошенный, женой, но жена, покинутая мужем,-- они не заслуживают осуждения: на преступную связь их толкают те, кто оставляет семью и ложе.

Письма князя свидетельствуют лишь то, что он не так распутен и развратен, какими бы были многие из нас на его месте. Он не подражает тем, кто свое одиночество развлекает легкими знакомствами на час, сегодня с Машей, завтра с Дашей, а там с Настей или Феней... Он привязывается к женщине, уважает ее.

Мало подумал прокурор, когда упрекнул в кощунстве князя за то, что в день именин своей жены он был в церкви и молился за Феню. Что же тут дурного. Княгиня бросила его и обесчестила дом и семью... Он мог отнестись к ней равнодушно... С Феней он близок,-- он, женатый и неразведенный, под напором обычной страсти и ища ласки, губит жизнь доверившейся ему девушки... Это не добродетель, а слабость, порок... и с его и ее стороны. Князь верует в молитву и молится за ту, которая грешит. Ведь и молятся-то не за свои добродетели, а за грехи.

Князь ограничился легкой связью, а не женитьбой. Благодаря гласному нарушению супружеской верности со стороны княгини, он мог бы развестись. Но жениться -- значит привести в дом мачеху к семи детям. Уж коли родная мать оказалась плохой, меньше надежды на чужую. В тайнике души князя, может быть, живет мысль о прощении, когда пройдет страсть жены; может быть, живет вера в возможность возвращения детям их матери, хоть далеко, после, потом... Он



невольный грешник, он не вправе для своего личного счастья, для ласки и тепла семейного очага играть судьбой детей. Так он думает и так ломает жизнь свою для тех, кого любит...

Вернемся к делу.

Поселились в Овчарне. Скандал шел на всю губернию. Ведь всего верста с чем-нибудь отделяла усадьбу князя от домика княгини. Живя там, Шмидт и его подруга то и дело напоминали о себе оскорбленному мужу. Князю было странно, неловко чужих и своих. Когда к нему заходили гости, он мучился, мучились и гости: надо было не упоминать о княгине и делать это так, чтобы не выдать преднамеренности молчания. Выйдет князь к прислуге, к рабочим, а в глазах их точно сквозит улыбка, насмешка. Он отмалчивается, ему неловко посвятить их в суть своего горя, а жена и Шмидт этим пользуются: жена приходит без него в дом, не пустить ее не смеют - приказа не было, и хозяйничает, берет вещи, белье, серебро.

Князь боится встретиться с детскими глазами, так вопрошительно смотрящими на него.

О, кто не был отцом, тому непонятны эти говорящие глазки!

Они ясны, светлы, чисты, но от них бежишь, когда чувствуешь неправду или стыд. Они чисты, а ты читаешь в них: зачем мама не с тобой, а с ним, с чужим. Зачем она спит не дома, обедает не с нами. Зачем при ней он бранит тебя, а мама не запретит ему. Он, должно быть, больше тебя, сильнее тебя.

От мысли, что дети подрастут, подрастут с ними и вопросы, которые они задают, кровь кидалась в мозг, сердце ныло, рука сжималась. Героическое терпение, смирение праведника нужно было, чтобы удержаться, связать свою волю.

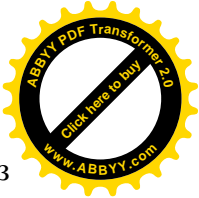
Бывают несчастные истории: полюбит или привяжется человек к чужой жене, жена полюбит чужого человека, борются с своей страстью, но под конец падают. Это -- грех, но грех, который переживают многие. За это я бы еще не осмелился обвинять княгиню и Шмидта, обрекать их на жертву князя: это было бы лицемерием слова.

Но раз вы грешны, раз неправы перед мужем, зачем же кичиться этим, зачем на глазах мужа позволять себе оскорбляющие его поступки, зачем, отняв у него, как разбойник на большой дороге, его трудовую и от предков доставшуюся и им для детей береженную копейку, тратить ее на цветы и венки своего гнезда. Зачем не уехали они далеко, чтобы не тревожить его каждый день своей встречей. Зачем не посоветовал Шмидт княгине, уходя из дома мужа, бросить все, на что она имела право, пока была женой, а грабительски присвоил себе отнятое, гордо заявляя князю, что это его дом. Зачем, наконец, он встал между отцом и детьми, оскорбляя первого в присутствии их, а их приучая к забвению отца. Не следовало ли бы, раз случился грех, остановиться перед святыней отцовского права на любовь детей, и, с мучением взирая на страшный поступок свой, не разбивать, а укреплять в детском сердце святое чувство любви к отцу и хоть этим платить процент за неоплаченный долг.

Они, Шмидт и княгиня, не делали этого, и ошибка их вела роковым образом к развязке.

В октябре княгине удалось захватить двух дочерей, Лизу и Тамару, и увести к себе; князь и тут человечно отнесся к поступку матери, щадя, может быть, ее естественное желание побыть с детьми.

Но не того добивались там. Сейчас же из этого делают торг: не угодно ли, мол, присылать на содержание их 100 руб. в месяц. Князь отвечает: у тебя состояние, равное моему, а я содержу всех сыновей и дочерей; мне не к чему платить, когда дочери могут быть у меня.



Князь уезжает по делам в Питер. Без него можно взять и третью дочь, но раз князь в содержании отказал, то о Нине и не думают, а двух дочерей продолжают держать, намереваясь мучить князя, зная его безумную любовь к детям.

Князь возвращается домой и узнает, что княгиня уехала куда-то, но детей оставила у Шмидта. Это взорвало отца: как, он, отец, живет тут, рядом, у него все, что нужно детям, он -- они знают -- любит и хочет иметь детей у себя; он мог уступить их матери, а теперь мать, уезжая, оставляет их с чужим человеком, с разлучником.

Он шлет за детьми карету. Шмидт ломается, не пускает, но, вероятно, детская воля взяла перевес, -- он разрешает повидаться им с отцом. Князь, само собой, оставляет детей, по крайней мере, до возврата матери.

Шмидт, раздосадованный переходом детей, вымещает свою злобу на пустой вещи, на белье; но это-то и стало каплей, переполнившей чашу скорби и терпения. В этой истории сила была не в белье, а в дерзости и злобной хитрости Шмидта.

Вы знаете, что вежливые просьбы и записки князя встретили отказ. Шмидт, пользуясь тем, что детское белье -- в доме княгини, где живет он, с ругательством отвергает требование и шлет ответ, что без 300 руб. залогом не даст князю двух рубашек и двух штанишек для детей. Прихлебатель, наемный любовник становится между отцом и детьми и смеет обзывать его человеком, способным истратить детское белье, заботится о детях и требует с отца 300 руб. залогом. Не только у отца, которому это сказано, -- у постороннего, который про это слышит, встают Дыбом волосы!

Князь сдерживается; он пытается образумить Шмидта чрез посредника, станowego, пишет новые записки и получает ответ -- "пусть приедет"!

А Шмидт в это время обращает, как нам показали все свидетели, свое жилище в укрепление: заряжает револьвер, переменяет пистоны на ружье, взводит курки. Один из свидетелей, Цыбулин, по торговым делам заезжает из усадьбы княгини к князю и рассказывает виденное его прислуге.

Получает князь записку Шмидта, вероятно, такого же содержания, каковы были словесные ответы: ругательную, требующую залога или унижения. Вспыхнул князь, хотел ехать к Шмидту на расправу, но смирил себя словами: "не стоит!.."

Утром в воскресенье князь проснулся и пошел будить детей, чтобы ехать с ними к обеду.

Нина, беленькая, чистенькая, протянула к нему руки и приветливо улыбнулась. Потянулись и Тамара с Лизой; но, взглянув на их измятые, грязные рубашонки, князь побледнел, взволновался: они напомнили ему издевательство Шмидта, они дали детским глазкам иное выражение: отчего, папа, Нина опрятна, а мы -- нет. Отчего ты не привезешь нам чистого. Разве ты боишься его.

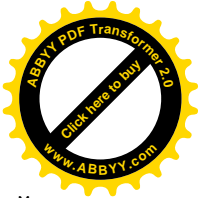
Сжалось сердце у отца. Отвернулся он от этих говорящих глазок и -- чего не сделает отцовская любовь -- вышел в сени, сел в приготовленный ему для поездки экипаж и поехал... поехал просить у своего соперника, снося позор и унижение, рубашонок для детей своих.

При князе был пистолет. Но нам здесь доказано, что это было в обычае князя. Сам обвинитель напоминает вам, со слов молодого Карлсона, о привычке князя носить с собой револьвер.

Что ждет князя в усадьбе жены его, в укрепленной позиции Шмидта.

Я утверждаю, что его ждет там засада. Белье, отказ, залог, заряженные орудия большого и малого калибра -- все говорит за мою мысль.

Если Шмидт заряжал ружье из трусости и боязни за свою целостность, то вероятнее, что он не стал бы рисковать собой из-за пары детского белья, он бы выдал его. А Шмидт отказал и, зарядив ружье и пистолет, взведя даже курки, с лампой всю ночь поджидал князя.



Если Шмидт не хотел этой встречи, но не хотел также выдавать и белья по личным своим соображениям, то он, не выдавая белья, ограничился бы ссылкой на волю княгини, на свое служебное положение, словом, на законные основания, а не оскорблял бы князя словами и запиской, возбуждая тем его на объяснение, на встречу.

Если Шмидт охранял только свою персону от князя, а не задумал расправы, он бы рад был, чтобы встреча произошла при народе, а он, едва увидел едущего князя, как выслал Лойку, говорившего с ним о делах, из дому и остался один с лакеем, которому поручил запереть крыльцо, чтобы помешать князю добровольно и открыто войти в комнату и чтобы заставить князя, раз он решится войти, прибегать к стуку, ломанью дверей, насилью.

А раз князь прибегнет к насилью, к нападению на помещение, в него можно будет стрелять, опираясь на закон необходимости. Если и не удастся покончить, а, напротив, бранью и оскорблениями из-за засады довести его до бешенства, до стрельбы, то самый безвредный выстрел может оказать услугу: обвиняя князя в покушении на убийство, можно будет отделаться от него на законном основании.

Все делается по этому плану. Оказалась ошибка в одном: слишком рассчитывал Шмидт на счастье.

Князя видели в довольно сносном состоянии духа, когда он выехал из дому. Конечно, душа его не могла не возмутиться, когда он, завидел гнездо своих врагов и стал к нему приближаться. Вот оно -- место, где, в часы его горя и страдания, они -- враги его -- смеются и радуются его несчастью. Вот оно-- логовище, где в жертву животного сластолюбия пройдохи принесены и честь семьи, и честь его, к все интересы его детей. Вот оно--место, где мало того, что отняли у него настоящее, отняли и прошлое счастье, отравляя его подозрениями...

Не дай бог переживать такие минуты!

В таком настроении он едет, подходит к дому, стучится в дверь.

Его не пускают. Лакей говорят о приказании не принимать.

Князь передает, что ему, кроме белья, ничего не нужно.

Но вместо исполнения его законного требования, вместо, наконец, вежливого отказа, он слышит брань, брань из уст любовника своей жены, направленную к нему, не делающему с своей стороны никакого оскорбления.

Вы слышали об этой ругают: "П у с т ь п о д л е ц у х о д и т; н е с м е й с т у ч а т ь, э т о м о й д о м! У б и р а й с я, я с т р е л я т ь б у д у".

Все существо князя возмутилось. Враг стоял близко и так нагло смеялся. О том, что он вооружен, князь мог знать от домашних, слышавших от Цыбулина. А тому, что он способен на все злое -- князь не мог не верить: когда наш враг нам сделал много нехорошего, мы невольно верим сказанному о нем всему дурному, и, видя в его руке оружие, взятое, быть может, с самой миролюбивой целью, ожидаем всего того зла, какое возможно нанести им.

В этом состоянии он ломает стекло у окна и вслед за угрозой Шмидта стрелять стреляет со своей стороны и ранит Шмидта той раной, которую врач признает несмертельной.

Шмидт бежит: это видно в окно, сквозь стекло,-- бежит к парадному крыльцу. Дым мешает рассмотреть -- ранен он или нет, есть у него в руках оружие или нет. Князь бежит по двору к тому же крыльцу. Здесь дверь уже растворена испуганным Евченко; князь -- туда и у дверей встречается со Шмидтом. Тот от боли припадает к земле, но сейчас же вскакивает и бежит в комнаты.

В это-то едва уловимое мгновение, когда гнев, ужас, выстрел, кровь опьянили сознание князя, он в том скоропреходящем умоисступлении, которое в такие минуты естественно, еще не помня себя, под влиянием тех же ощущений, которые вызвали первый выстрел, конвульсивно нажимает револьвер и производит



следующих два выстрела: положение трупа навзничь, и не ничком, ногами к выходу, головой к гостиной, показывали, что Шмидт не бежал от князя, и он стрелял не в спасающегося врага. При этом припомните; что ружье и пистолет оказались не там, где лежали утром, то есть не в спальне княгини, а уже на столе в гостиной, -- тогда будет не невероятно объяснение князя, что Шмидт выронил пистолет из рук, и уже после перенесения Шмидта в комнату, во избежание несчастного выстрела, ружье было освобождено от пистонов, а револьвер поднят с полу.

Сомневаются в состоянии духа князя, могущем преувеличить опасность и злобные намерения врага; их оспаривают. Оспаривают и законность того гнева, что поднялся в душе его.

Но, послушайте, господа: было ли место живое в душе его в эту ужасную минуту.

Не говорю об ужасном прошлом. Еще тяжелей было настоящее. Он на глазах любопытных, которые разнесут весть по всей окрестности, стоит посмешищем зазнавшегося приживалки и тщетно просит должного. На земле, его трудом приобретенной, у дома его жены и матери детей его, чужой человек, завладевший его добром и его честью, костит его. В затылок его устремлены насмешливые взоры собравшихся, и жгут его, и не дают голове его силы повернуться назад. Куда идти. Домой. А там его спросят эти ужасные, милые, насмешливо-ласковые детские голоса: а где же белье. Что, папа, бука-то, знать, сильнее тебя, не смеешь взять у него наших рубашек. Плох же ты, папа! Уж лучше отпусти нас к нему. Мы его любить будем. Он нас будет чисто одевать. Мы тебя забудем, от тебя отвыкнем...

И кто же и за что же его ставит в такое положение.

Шмидт -- орудие, но он был бы бессилён, если бы не слился воедино с женой его. А она. Что он ей сделал. За что. Не за то ли, что так горячо и беззаветно полюбил ее и пренебрег для нее и просьбой матери и своим положением. Не за то ли, что дал ей имя и власть. Не за то ли, что готов был прощать ей вины, простить которые из ста мужей не решатся девяносто девять.

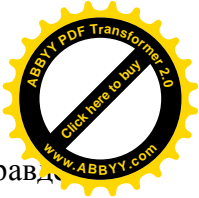
А чем мстят. Отняли у него добро, -- он молча уступил. Отняли честь, -- он страдал про себя. Он уступил человеку жену, когда она, изменив ему, предпочла ему другого... Но детей-то, которых Шмидту не надо, которых мать, очевидно, не любит, ибо приносит в жертву своему другу, -- зачем же их-то отрывать от него, зачем селить в них неуважение, может быть, презрение к своему бессильному отцу. Ведь он, по выражению Карлсона и Мещерского, -- отец, каких мало, отец, давно заменивший детям своим мать их.

Справиться с этими чувствами князь не мог. Слишком уж они законны, эти им овладевшие чувства.

Часто извиняют преступления страстью, рассуждая, что душа, ею одержимая, не властна в себе.

Но если проступок был необходим, то самая страсть, когда она зарождалась в душе, вызывала осуждение нравственного чувства. Павший мог бы избежать зла, если бы своевременно обуздывал страсть. Отсюда -- преступление страсти все-таки грех, все-таки нечто, обусловленное уступкой злу, пороку, слабости. Так, грех Каина -- результат овладевшей им страсти -- зависти. Он не неповинен, ибо совесть укоряла его, когда страсть, еще не решившаяся на братоубийство, изгоняла из души его любовь к брату.

Но есть иное состояние вещей: есть моменты, когда душа возмущается неправдой, чужими грехами, возмущается во имя нравственных правил, в которые верует, которыми живет, -- и, возмущенная, поражает того, кем возмущена... Так, Петр поражает раба, оскорбляющего его учителя. Тут все-таки есть вина, несдержанность, недостаток любви к падшему, но вина извинительнее первой, ибо



поступок обусловлен не слабостью, не самолюбием, а ревнивой любовью к правде и справедливости.

Есть состояние еще более извинительное. Это -- когда поступок ближнего оскорбляет и нарушает священнейшие права, охранять которые, кроме меня, некому и святость которых мне яснее, чем всем другим.

Муж видит человека, готового осквернить чистоту брачного ложа; отец присутствует при сцене соблазна его дочери; первосвященник видит готовящееся кощунство,-- и, кроме них, некому спасти право и святину. В душе их поднимается не порочное чувство злобы, а праведное чувство отмщения и защиты поруганного права. Оно -- законно, оно свято; не поднимись оно, они -- презренные люди, сводники, святотатцы!

От поднявшегося чувства негодования до самовольной защиты поруганного права еще далеко. Но как поступить, когда нет сил и средств спасти поруганное, когда внешние, законные средства защиты недействительны. Тогда человек чувствует, что при бессилии закона и его органов идти к нему на действительную помощь, он -- сам судья и мститель за поруганные права! Отсюда необходима оборона для прав, где спасение -- в отражении удара; отсюда неодолимое влечение к самосуду, когда право незащитимо никакими внешними усилиями власти.

И вот такие-то интересы, как честь, как семья, как любовь детей, самые святейшие и самые дорогие, в то же время оказываются -- раз они нарушены -- самыми невознаграждаемыми. Опозорена дочь: что же, тюрьма обольстителя возвратит ли ей утраченную честь? Совращена с дороги долга жена: казнь соблазнителя возвратит ли ей семейную добродетель? Дети отлучаются от отца: исполнительные листы и судебные приставы сумеют ли наложить арест на исчезающее чувство любви в сыновьем сердце? Самые священные -- в то же время самые беззащитные интересы!

Вот и поднимается под давлением сознания цены и беззащитности поруганного права рука мстителя, поднимается тем резче, чем резче, острее вызывающее оскорбление.

Если это оскорбление разнообразно, но постепенно, то оскорбленный еще может воздержаться от напора возмущающих душу впечатлений, побеждая каждое врозь от другого. Но если враг вызывает в душе своими поступками всю горечь вашей жизни, заставляет в одно мгновение все перечувствовать, все пережить, то ют мгновенного взрыва души, не выдержав его, лопнут все сдерживающие его пружины.

Так можно уберечь себя проходящему от постепенно падающих в течение века камней разрушающегося здания. Но если стена рухнет вдруг, она неминуемо задавит того, кто был около нее.

Вот что я хотел сказать вам.

Пораженный неожиданной постановкой обвинения, я растерялся. Вместо связанного слова я отдал себя во власть впечатлениям, которые сами собой возникли в душе при перечувствовании всего, что видел, что выстрадал он...

Многое упущено, многое забыто мной. Но пусть не отразятся мои недостатки на судьбе его.

О, как бы я был счастлив, если бы, измерив и сравнив своим собственным разумением силу его терпения и борьбу с собой, и силу гнета над ним возмущающих душу картин его семейного несчастья, вы признали, что ему нельзя вменить в вину взводимое обвинение, а защитник его -- кругом виноват в недостаточном умении выполнить принятую на себя задачу...



Присяжные вынесли оправдательный вердикт, признав, что преступление было совершено в состоянии умоисступления.

Дело Замятниных

13 марта 1881 г. в Козмодемьянске, в своей квартире, купец, Семен Замятнин путем угрозы убийства заставил казанского купца Курбатова подписать в свою пользу четыре векселя на сумму 100 тысяч рублей. Угрозой мести Замятнин предложил Курбатову молчать обо всем происшедшем. Курбатов, прибыв домой в Казань, немедленно рассказал о случившемся прокурору.

Допрошенная в ходе предварительного расследования дела жена Замятнина показала, что векселя на 100 тысяч рублей были получены ею от Курбатова еще ранее, когда она была с последним; в интимных отношениях, и еще до ее брака с Замятниним. Факт близких отношений Курбатова с Замятниной до ее брака подтвердился при расследовании дела. Однако Курбатов категорически отвергал выдачу Замятниной векселей; данными по делу этот факт также не подтверждался.

Замятнины были привлечены к уголовной ответственности по обвинению в вымогательстве.

Дело слушалось Казанским окружным судом 7--9 июня 1882 г. В качестве представителя гражданского истца по делу выступал Ф. Н. Плевако, речь которого, представляющая известный теоретический и практический интерес, публикуется в Сборнике.

* * *

Шестнадцать лет -- я адвокат.

Профессия дает нам известные привычки, которые идут от нашего труда. Как у кузнеца от работы остаются следы на его мозолистых руках, так и у нас, защитников, защитительная жилка всегда остается нашим свойством не потому, что мы хотим отрицать всякую правду и строгость, но потому, что мы видим в подсудимых по преимуществу людей, которым мы сострадаем, прощаем, и о которых мы сожалеем.

Годы закалывают нас в этой привычке...

Рядом с ними к нам приходят и другие люди, которые жалуются на преступников, подсудимых и говорят: "Они нас обидели, защитите нас, просим вашего содействия; у нас нет других защитников, нам не к кому обратиться".

Кроме нас, защитников, для прямой защиты их от обидчиков, законом не создано иного класса. При нашей привычке защищать, при нашей привычке к снисхождению мы встречаемся с необходимостью требовать восстановления нарушенных прав, отнятия из их рук того, что они захватили.

Если ко мне является человек, у которого сняли с плеч кафтан, я действую таким образом, чтобы возратить похищенное; ко если этот же человек требует наказания преступника, то его заявление кажется мне еще недостаточным.

Как же примирить это?

Очень легко!



Нужно только уметь поставить пределы того чувства к подсудимому, о котором говорил, и чувства справедливости к тому человеку, который страдает.

Заявляют иск разного рода люди: иные хлопчут о том только, чтобы выиграть свой иск, иногда даже несправедливый. Защита, готовая клевать, явится пособником такого человека, -- позорна и нечестна.

Наоборот, -- нет выше задачи, как защищать невинно потерпевшего...

Но есть противоположный класс потерпевших, где сила смеется над всем.

Когда приходят к нам обиженные люди и говорят, что у них силой отняли то, что им принадлежит, что им негде искать защиты, -- тогда указываешь им на бога; но они отвечают, что там -- пустое место, вот тут нужно уличить, покарать преступника, доказать ему, что насилие -- презренно, потому что нарушает человеческие права...

Бывают еще третьего сорта дела, когда под влиянием гнева, вражды и других житейских обстоятельств, человек Порой совершит преступление, а потом сам "е может додуматься, как он его совершил; дело поправлять поздно, и вот из чувства самосохранения он начинает отпираться. Может быть, он не прочь возратить несправедливо отнятое, но боится дать улики обвинению.

Тогда он начинает давать невероятные показания, говорить неправду; между тем потерпевший -- страдает, интересы его -- нарушены... Тут мы будем вполне правы, защищая эти интересы, но не будем правы, если захотим карать обвиняемого.

Для меня безразлично, останется ли обвиняемый в этом городе или будет сослан. Позор подсудимого для интересов Курбатова не имеет значения.

Вся наша просьба заключается в том, чтобы вы рассудили, законные ли те документы, которые находились в руках Замятнина, -- выданы ли они добровольно, как всякий честный акт, или же взяты силой из рук того, кому имущество принадлежало.

Задача поверенного гражданского истца заключается в удовлетворении его гражданского иска, и только в этих пределах я буду разъяснять перед вами настоящее дело.

Вопрос, как вы знаете, поставлен ребром. Приходит человек и говорит нам: "Меня обманули -- заставили силой и угрозами подписать векселя... Прошу признать их недействительными".

Приходит также другой и говорит: "Документы -- мои собственные; я получил их в обмен на старые документы".

Выступает жена и говорит: "Эти документы -- законные, получив от Курбатова, я передала их мужу; правда, я денег ему не давала, не трудилась для него, но когда-то он оставил у меня документов на 100 тысяч в благодарность за то, что проводил у меня время, отдыхал от забот... Теперь я с ним рассталась и вышла замуж".

Вот задача, которую я должен объяснить вам и решить вопрос, который в глубине вашей совести, верно, уже явился.

Для разъяснения дела я прошу вашего внимания, прошу вас мысленно отправиться в тот дом, куда мы сегодня с вами ходили.

Я увидел этот дом в первый раз; увидел обстановку человека обеспеченного, достаток которого начался не сегодня, не вчера, а вероятно уже давно. Во всей этой обстановке видна женщина не нуждающаяся, имеющая в руках довольно средств, чтобы жить спокойно, не выпрашивая, не унижая себя до того, чтобы продавать кому-нибудь свою честь за более или менее значительное вознаграждение.

Без сомнения, на такую продажу Мария Алексеевна нравственно не была способна.

Как мы видим из всей ее прежней жизни, она после смерти первого мужа вела торговые дела, пользовалась всеобщим уважением, считалась женщиной



достаточной. Когда же она погрешила против известных правил нравственности, что говорит: "Я получила от Курбатова документов на 100 тысяч".

Нам нужно рассмотреть, правда ли, что такой факт был.

Мария Алексеевна говорит, что она серьезно полюбила Курбатова, что между ними были отношения настолько короткие, что должны были перейти в брак; в ожидании его они не были слишком сдержаны и позволили себе отношения очень близкие. Мария Алексеевна говорит, что эти отношения не оглашались, но что Курбатов бывал у нее, что она появлялась с ним у знакомых, каталась на его лошадях, бывала в театре в его ложе.

Курбатов этих отношений не отрицает.

Но смотрел ли он на Марию Алексеевну, как на будущую жену? Это обстоятельство нужно проверить.

Обращаю ваше внимание на один факт: люди этого романа, по крайней мере, один из них, не были молоды в начале своего знакомства: если Мария Алексеевна была не старше 25 лет, то Курбатов приближался уже к 50-летнему возрасту.

Молодой человек, встретив женщину, которая ему понравилась, хотя бы эта женщина была и легкого, несколько, поведения, имеет достаточно мужества, чтобы не стать к ней в неловкие отношения.

Но этого возраста люди, встретясь с женщиной, не так легко поддаются впечатлению, не так легко забываются.

Поэтому, если Мария Алексеевна говорит, что она серьезно полюбила Курбатова, я все же думаю, что до замужества было далеко; он все-таки оставался для нее чужим человеком, который не решался бы ввести ее в свой семейный кружок.

Если бы отношения между ними не дошли до известной степени короткости, то в словах Марии Алексеевны было бы много правды; разбивать эту правду пришлось бы с большим трудом.

Но раз она говорит, что "спозналась с ним", то такой человек, как Курбатов, после этого нелегко изменяется. Женщина, которая имела полную свободу идти с ним к венцу и которая отдалась ему до свадьбы -- такая женщина, прежде чем он решится назвать ее своей женой, всегда заставит подумать: если она легко отдалась мне, то, почем знать, как жила до встречи со мной? Молодой человек, если полюбит женщину, то не задумывается жениться на ней, каково бы ни было ее прошлое: пожилой же -- не скоро на это решится.

Раз Мария Алексеевна не отрицает своих близких отношений к Курбатову, -- она сама себе произносит приговор, она созналась, что о будущем браке он с ней не говорил. И действительно, в отношениях их мы подтверждения этому не находим.

Правда, он приглашал ее к себе, они вместе посещали общих знакомых...

Здесь были свидетели, которыми мы могли проверить эти слова.

Так, свидетель Четвергов показал, что Мария Алексеевна была у него на вечере в числе других знакомых. Но они бывали не вместе, не как жених с невестой, -- это две вещи разные. Другое дело, если бы Курбатов, приехав с Марией Алексеевной, прямо сказал, что это -- его объявленная невеста, если бы он привозом ее оглашал их будущий брак; но мы знаем, что этого не было.

Из свидетельских показаний видно, что, судя по их обращению, никто не подозревал их близких отношений. Напротив, при известных отношениях приличие наружно соблюдается тем строже, чем свободнее оно внутри.

Объяснения Замятвиной, что Курбатов хотел вступить с ней в брак, лишены всякого основания. Это подтверждается показаниями близких знакомых Курбатова, которые ничего об этом не слышали. То обстоятельство, что Мария Алексеевна бывала в дожде у Курбатова, посещение общих знакомых, объясняется в сущности весьма просто: Мария Алексеевна вела свои торговые дела настолько крупно, настолько, видно, была такой значительной негодичанткой известного торгового



дела, что поэтому, конечно, входила в сношения со многими лицами купечества, которые смотрели на нее, как на одну из своих добрых знакомых. Может быть, при этом Мария Алексеевна отличалась некоторой свободой, при которой женщину все-таки не стесняются принимать в обществе. Благодаря тому, что она часто бывала в обществе, где мог быть и Курбатов, последний легко мог пригласить ее бывать с ним в театре...

Итак, установив положение, что никакого вопроса о будущем браке не было, можно ли допустить факт подарка 100 тысяч?

На этот вопрос я отвечаю отрицательно.

Здесь я встречаюсь с одним положением, для меня не совсем приятным: мне придется утверждать, что в этом важном вопросе Мария Алексеевна говорит неправду. Если бы она говорила правду, то не могло бы быть настоящего дела; если же допустить, что она говорит неправду здесь, то вы можете не поверить ей во всем остальном и вообще смотреть на нее другими глазами.

Здесь мы находим и объяснение, почему по поводу этого признания она позволяет себе говорить неправду.

Замятнин -- ее муж; вряд ли прав прокурор, говоря, что Мария Алексеевна раскаивается в том, что вышла за него замуж; вероятно, он остался для нее самым дорогим человеком; дорогому человеку нужно подать руку, ему нужна помощь, его нужно выручить, а для этого следует не противоречить ему, и вот -- самый близкий человек, жена, поет ему в унисон.

По моему мнению, этого нельзя ставить ей в вину. Если посторонний человек совершает преступление, закон обязывает нас заявить об этом, а если кто-нибудь докажет, что не заявили, то нас предадут суду; но если брат, отец, жена позволяют себе до известной степени укрывать близкого человека, то у закона рука не поднимается наказывать их за это: он знает, какая страшная мука видеть, как пропадает близкий человек.

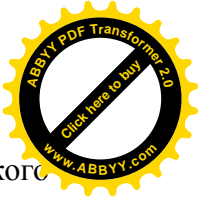
Таким образом, Мария Алексеевна своим рассказом только прикрывает грех своего мужа. 100 тысяч рублей Курбатов ей дать не мог.

Прежде всего не мог он сделать, этого потому, что она лучше тех женщин, которым платят деньги. Плохую услугу оказывают те, которые уверяют, что Курбатов заплатил ей за их отношения. Я уж указал, что Замятнина стоит, на такой высоте, которая не позволяет женщине падать до продажи своей любви и ласки. Я утверждаю, что довольная своим личным состоянием, она не могла прийти до такого положения, когда, прежде чем отдаться человеку, с ним!, условливаются о вознаграждении, заставляют его покупать любовь! К чести самой Марии Алексеевны я не могу этого допустить!

Но если даже Курбатов и смотрел бы на свои отношения к Марии Алексеевне, как на подлежащие оплате, то даже и тогда он не мог бы дать за них такого чудовищного вознаграждения: за такие деньги покупаются женщины известного рода, любви которых добиваются многие, когда одни лица стараются перебить любовь у других, одним словом, такие деньги платят за модный товар. Это имеет известное значение тогда, когда мужчина во что бы то ни стало хочет сделать женщину своей, -- тогда не жалеют денег, тогда действительно платят сотни тысяч...

Платят деньги еще и в других случаях: когда последствием отношений к женщине являются дети; тогда, чтобы не поставить женщину в трудное положение, чтобы дать ей возможность не зависеть от других, чтобы дать возможность воспитывать детей, порядочные люди платят большие деньги.

Но мы знаем, что Мария Алексеевна умела устроить свои отношения к Курбатову таким образом, что даже самые приближенные к ней люди отрицали существование этих отношений; знаем также, что никаких последствий этих



отношений не осталось, и, следовательно, видим, что Курбатов не имел никакого основания выдать ей за прошлую связь 100 тысяч рублей.

Если допустить, что векселя на эту сумму были ей выданы несколько лет тому назад и потом, после ее брака с Замятниным, были переданы ее мужу, то, мне кажется, нашелся бы случай обнаружить эти векселя, когда отношения между Курбатовым и Замятниной прекратились, когда он, по ее словам, охладел к ней; она, оскорбленная холодностью, могла бы обнаружить векселя.

Между тем до 13 марта никто о них ничего не знает...

Получив их по бланковой надписи, Замятнин по наступлении срока мог ими воспользоваться. Раз ему показалось неловким обнаружить векселя раньше и предъявить их до истечения срока, когда никто не знал о существовании их, то почему он нашел возможным, после 13 марта представить их к учету в банк? Ему легче было сделать это раньше, пока векселя не были еще просрочены, или же требовать, чтобы Курбатов уплатил ему по этим векселям деньги, если они самому ему были нужны.

Ничего этого сделано не было. Вот почему я думаю, что выдача документов на 100 тысяч рублей ничем не доказана.

Если векселя, как показывает Замятнин, уже несколько лет находились у них, то неужели бы не нашлось ни одного свидетеля, который бы об этом знал? Мы видели, что между приказчиками у Замятнинных были такие, которым дела их были очень хорошо известны,-- один из них даже высчитывал наизусть, сколько на какой пристани находится пятериков замятнинских дров. Неужели не нашлось никого, кто знал бы что-нибудь об этих документах? В какой-нибудь книге они были бы записаны!

А между тем нигде о них не упоминается...

Таким образом, фактических доказательств, что эти документы существовали, нигде нет.

Обратите внимание на показание потерпевшего Курбатова, сравните его с показаниями Замятнина и решите: которому из этих показаний больше верить?

Неправду можно говорить и со скамьи свидетелей, и со скамьи подсудимых. Но когда слова потерпевшего находят себе подтверждение, а слова подсудимого не находят, когда характер показания первого таков, что ему можно верить, когда ему нет надобности кривить совестью, то очевидно, чьи слова заслуживают большего доверия.

Для Курбатова, получающего 250 тысяч ежегодного дохода, потерять 100 тысяч не значит лишиться состояния: ради чего же человек мог бы покривить душой?

Курбатов жертвует большие суммы на благотворительные учреждения. Понятное дело, что для человека с таким имущественным положением что-нибудь да значит его честное имя: он не стал бы им жертвовать для того, чтобы спасти крохи из своего состояния!

Если противоречия в фактах нет; если о документах нигде не заявлялось во все время, когда, по показанию Замятнина, они находились у его жены; если документы эти находились под спудом,-- то будьте уверены, что они не существовали, и если на доске значилось, что тут находятся векселя, то под доской было пустое место!

Я объясняю показание Марии Алексеевны о векселях только желанием спасти мужа...

Перехожу к вопросу: доказана ли вынужденная выдача векселей 13 марта 1881 г.?

Перед этим числом, по обычаю предшествовавших лет, Курбатов, отправляясь из Нижнего в Ирбит, дорогой заехал в Козьмодемьянск к Замятниной. Посещение это не имело в себе ничего чрезвычайного, небывалого: он часто заезжал к ней и прежде, так как Козьмодемьянск находится на пути из Нижнего в Казань.



Курбатов приезжает поздно ночью, приходит в дом Замятниных, прямо в контору, просит разбудить супругов Замятниных; на ответ, что они спят и их видеть нельзя, он пишет записку, что заедет на обратном пути из Ирбита и привезет деньги за покупку дров. С этого времени Замятниным делается известным, что торговые отношения с Курбатовым не прекращены и что на днях нужно ожидать его обратно.

Вернулся он 13 марта, так как несколько времени жил в Казани. Ирбитская ярмарка кончается в конце февраля, так что в первых числах марта можно было ожидать Курбатова в Козьмодемьянск. Так, в 1881 году он приехал туда 5 марта,-- мог приехать и раньше.

В то время, как он был в Ирбите, в последних числах января, в нижегородском казначействе совершается крупная покупка вексельных бланков,-- на 250 тысяч,-- покупка настолько необычная, особенно ввиду глухой поры, в феврале месяце, что продавец этих бумаг, свидетель Благосмыслов, запомнил эту покупку. Кто был человек, купивший эти бланки, долгое время оставалось неизвестным, пока Благосмыслов не указал на Замятнина.

Вернувшись 13 марта из Ирбита, Курбатов согласно обещанию зашел к Замятниным и на этот раз был бесспорно принят обычным порядком,-- новостью было только то, что в этот свой проезд он в первый раз увидел супруга Марии Алексеевны; затем он дал ей задаток на дрова 3 тысячи рублей, и после этого муж ее вступает с ним в разговор весьма пикантного свойства, из которого видно, что он знает о прошлых отношениях Курбатова к жене...

Результатом этого разговора является подпись векселей. Векселя подписаны 13 марта, а текст же показывает -- 2.

Что же это значит?

Замятины говорят, что выставил это число по примеру прежних лет, и по его желанию Курбатов написал расписку, что векселя от 2 марта подписаны 13 марта.

Затем, обманутый, таким образом, Курбатов распростился, вышел и тотчас же уехал в Нижний.

Замятнину, в тот же день уехавшему в Нижний, понадобились деньги, и он отправился в банк, чтобы учесть векселя.

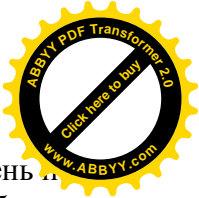
Так как вы много раз слышали все эти подробности, то я прошу позволения не распространяться о них.

Из осмотра книги Никольских номеров в Казани видно, что Курбатов был 5 марта в Казани, следовательно, не мог быть 2 марта в Козьмодемьянске. Это подрывает веру к словам Замятнина, и то обстоятельство, что векселя, подписанные 13 марта, действительно помечены 2 марта согласно и с показаниями Курбатова.

Экспертиза текста векселей доказала, что он отличается особенно тщательным и старательным письмом и написан орфографически правильно, без одной ошибки; между тем как по сравнении этих векселей с письмом, писанным рукой Замятнина, эксперты нашли, что он не умеет правильно писать и делает много ошибок: чтобы писать безошибочно, нужно иметь в голове известные правила правописания, а человек, ничему не учившийся, не может писать грамотно. В полчаса научиться грамоте невозможно, следовательно, текст векселей не мог быть писан Замятниным без посторонней помощи или без того, чтобы он откуда-нибудь их списывал.

Но такого объяснения Замятнин нам не давал. Быть может, он дал бы его теперь, но это было бы слишком поздно: он не ждал выстрела с этой стороны и не приготовил ответа; мы замечаем, что на неожиданные вопросы Замятнин не умеет отвечать.

Векселя были написаны на разные сроки и немедленно учтены.



Прошу обратить внимание на следующее обстоятельство: если на другой день в день приезде в Нижний Замятнину настолько понадобились деньги, что он идет в банк учитывать векселя, то спрашивается, какое имел он основание ожидать от Курбатова уплаты по старым векселям? Если мне нет надобности в деньгах, я могу не оглашать неисправность должника и брать новый вексель; но раз мне самому деньги нужны и вексель просрочен, то это далеко не коммерческий расчет согласиться на отсрочку платежа и учитывать векселя в банке.

Притом мог ли Замятнин войти в какую-нибудь сделку с Курбатовым? Припомните, что векселя были даны Замятнину, как талон за позор жены; следовательно, он решается торговать позором жены; раз этот человек напоминает ему ошибку жены, может подсмеяться над ней, вызвать краску стыда в ее лице, то с таким человеком сделки не заключают, такому человеку векселей не переписывают; раз мне самому деньги нужны, то я ждать не стану 13 марта, если вексель был от 2 марта, я попросту предъявлю просроченный вексель.

Ясно, что Замятнин 2 марта векселей не имел, иначе он предъявил бы их в срок; между тем, он до того времени никакому нотариусу об этих векселях не заявлял.

Отсюда я вывожу заключение о несправедливости его показания.

Раз вы признаете, что векселя были безденежные, для меня не важно, с пистолетом в руке или без него сделано принуждение: отягчение участи подсудимого не входит в интересы Курбатова.

Для меня также не важно проверять, хотел или нет Замятнин лишить жизни Курбатова или это была одна угроза.

Я только утверждаю, что векселя -- результат какого-то насилия, так как до 13 марта их у Замятнина не было.

Насилие, которому подвергся Курбатов со стороны Замятнина, меньше всего может быть объяснено ревностью. Ревность человеку свойственна. Человека, который был причиной измены жены, который опозорил семейный мир, поселил среди супругов вечный разлад, обыкновенные натуры встречают с ненавистью; ревность свойственна мужскому сердцу: я дорожу всякой лаской любимой женщины, я не хочу делиться ею, я всю, всю хотел бы взять ее себе

В такой ревности, которая проявляется потемнением всех сил духовных, человек совершает деяния: она появляется мгновенно и заглушает все другие чувства.

Но та ревность будет плохая, где, ревнуя соперника, мы в то же время заключаем сделки в свою пользу; та ревность будет плохая, которая замолчит, если ее прикрыть вексельным листом на более или менее значительную сумму: это уже будет не ревность -- это хуже позора, который себе позволила жена!

Ревнивец не скажет жене: я за твой позор удовлетворен векселями... Он не будет ценить честь жены на деньги!..

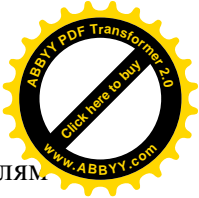
Ошибка Замятнина в его нравственной неразвитости, в том, что, примирив в душе своей противоположные чувства, он только огласил прошлое своей жены, и теперь это отражается не только на ней, но и на всей их семье, начиная с маленьких детей.

Без сомнения Замятнин теперь сознает свою ошибку и страдает в душе.

Я бы желал, чтобы это внутреннее страдание было для него единственным наказанием.

Из объяснений Курбатова я пришел к искреннему убеждению, что подарка в 100 тысяч рублей не было, что никаких векселей не было и что 13 марта они произошли насильственно. Этот вопрос вам будет предложен, и я попрошу вашего правдивого разрешения.

Думаю, что фактически вопрос этот доказан, что все вы убеждены в неправильности векселей и что вопрос этот следует разрешить согласно с моим ходатайством.



Факты неопровержимы, и их отвергать бесполезно. Смею думать, что векселям этим произнесен смертный приговор, что деньги никогда не получатся из той могилы, откуда не могут извлечь их поверенные целого света.

В этом отношении я ничего не боюсь, но мне было бы больно, если бы, внутренне сознавая, что векселя неправильны, руководствуясь каким-нибудь посторонним побуждением, вы ответили на этот вопрос отрицательно, потому что суд есть, самое светлое учреждение нашей страны: суд помогает человеку сознавать свою ошибку, не дает ему эту ошибку довести до конца, заставляя его ответить за те поступки, которые он уже совершил, не покровительствует ему, однако, в преступных деяниях и прощает человека, достойного милости.

Факты отвергать нельзя: снятой головы к плечам не приставишь.

В делах подлога, в делах насилия, если мы видим, что подсудимый действительно желает воспользоваться неправильными документами,-- отвергая факт, присяжные как бы говорят: позволяем тебе подложные акты считать за настоящие, благословляем на такие поступки, весь твой нравственный грех принимаем на свою совесть!

Дорожа судом, где я провожу свою жизнь, мне было бы больно встретиться с такими фактами.

Пределы нам даны, я их не касался: к великому моему счастью, я имел право не касаться уложения о наказаниях: я шел дальше -- я указывал вам факты, значительно смягчающие вину подсудимого.

Если нет свидетелей преступления и если по вашему нравственному убеждению обвинять человека в подлоге документов нельзя, то никто не может лишать вас принадлежащего вам права помиловать его.

Если бы явилось сомнение относительно того, точно ли все так произошло, как нам говорят, то, я думаю, нужно поставить вопрос таким образом: если сомнительно, как произошли эти неправильные документы, то зачем отягощать свою совесть сомнением? Зачем не оказать милость такому человеку?

Председатель в своем последнем слове, вероятно, скажет вам, что всякое сомнение толкуется в пользу подсудимого. При таком положении дела вам легко быть справедливыми, не позволив только человеку взять то, что ему не принадлежит.

Документы эти можно рассматривать как грех: смерть греху, но оставьте жизнь грешнику!

Простите человека, который обвиняется: пусть в его пользу говорит то положение, в котором он находился все это время, то страдание, которое ему пришлось вынести!

Оканчивая мое обвинительное слово, я жду вашего решения. Думаю, что вы узнаете, что дело правосудия есть дело великое. Надеюсь, что мне, как вашему собрату по стране, не придется краснеть за вас, что вы узнаете, что нужно давать руку помощи упавшему, поднять грешника кающегося, оказать милости страждущему.

Но милуя грешника, не давайте ему пользоваться плодами греха!

* * *

Замятнивы были оправданы. Факт же вымогательства векселей судом был подтвержден, вследствие чего суд постановил об их уничтожении.



Дело Лукашевича

Н. А. Лукашевич был предан суду по обвинению в том, что в ночь на 25 октября 1878 г. в имении своего отца, в деревне Лукашевке, Екатеринославской губернии, несколькими выстрелами из пистолета застрелил свою мачеху Фанни Владимировну Лукашевич.

Ф. В. Лукашевич -- вторая жена А. П. Лукашевича, у которого от первого брака было два сына -- Николай и Леонид. После прихода в дом Лукашевичей мачехи отношения всех членов семьи постепенно и все более обостряются. Старший сын Лукашевича -- Николай, терпеливый от рождения, молча сносит обиды мачехи, хотя по отношению к нему она была настроена особенно враждебно. Младший же сын -- Леонид -- покидает имение отца и поселяется в губернском центре, где вскоре кончает жизнь самоубийством. Семейные ссоры продолжались до тех пор, пока, наконец, Ф. В. Лукашевич не уехала из деревни, бросив мужа и поселившись в Екатеринославле. После ее отъезда по деревне пошли слухи о том, что она сблизилась и состояла в интимных отношениях с Леонидом Лукашевичем.

В один из приездов Ф. В. Лукашевич в деревню для объяснений с мужем она и была застрелена Николаем. Обвинительной властью действия Н. А. Лукашевича квалифицировались как умышленное убийство. Защита (Николая Лукашевича защищал Ф. Н. Плевако) настаивала на переквалификации убийства как совершенного в припадке умоисступления. Дело рассматривалось 7--8 февраля 1890 г. Екатеринославским судом с участием присяжных заседателей.

* * *

Вы, вероятно, помните, господа присяжные заседатели, что в конце обвинительного акта говорится о том, какое вы будете дело рассматривать, о каком преступлении идет речь, что там вам прочитали ст. 1455. Если вы обратитесь к Уложению и посмотрите, что, собственно, в 1 части ст. 1455 заключается, какое там преступление имеется в виду, то увидите страшные слова "умышленное убийство".

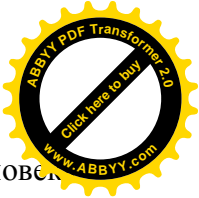
Мы полагали, что с этим обвинением нам бороться не придется, и после судебного следствия, по-видимому, с этой стороны для нас был выигрыш дела.

Но только что произнесенная прокурором речь закончена тем же обвинением -- обвинением в умышленном убийстве.

Конечно, для того чтобы судить, насколько данные обвинения подготовляют к подобному приговору, надо выяснить, что за деяние, в котором обвиняют нас? Нет ли в этом отношении между нами какого-нибудь разномыслия?

Но относительно умышленного убийства ни у одного народа не была разномыслия. Умышленное убийство -- это самое страшное зло, на какое только способна злая воля человека, умышленного убийцы. Я не знаю такого заблуждающегося века, я не знаю такого заблуждающегося человечества или отдельного народа, где бы на умышленного убийцу смотрели иначе. На него везде идет гнев законодателя, раздражение общества, строгий приговор суда.

И совершенно понятно. Ведь умышленный убийца -- это человек, который умеет заставить в себе замолчать то естественное чувство отвращения, которое возбуждается у человека при мысли о крови, о страданиях, о смерти. Ведь умышленный убийца -- это человек, которому ничего не значат стоны, просьбы и мольбы жертвы, которую он разит. Умышленный убийца -- это человек, которому



ничего не значит разбить те скрижали, которые имеются в сердце всякого человека и на которых написано: "не убий". Поэтому нет выше кары, как кара, преследующая подобное деяние, нет выше зла, как зло -- умышленное убийство.

Но ввиду этого законодатель, суд и тысячелетняя мудрость веков давно уже выработали положение, в виде математической истины, не допускающей никакого возражения, что не всякое убийство следует считать умышленным убийством, что между убийством умышленным и убийством при других условиях может быть величайшая разница, и законодатель отвел для другого убийства название з а п а л ь ч и в о г о.

Запальчивое убийство -- другое дело. Здесь человек не имеет времени побороться с нравственными запросами, которые мешают ему исполнить известное зло. Запальчивое убийство необыкновенно быстро проявляется, мысль необыкновенно быстро переходит в действие, так сказать, разум и совесть не успевают догнать той решимости, сила которой вызывается причинами, не всегда лежащими в самом подсудимом. В самом поступке запальчивого убийцы видно бывает, от каких причин произошло убийство: произошло ли оно от внешних причин -- страха, ужаса или от причин внутренних -- мести, ревности и т. п.

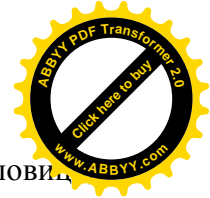
Мало того, запальчивым убийцей иногда бывает человек, который вовремя не мог остеречься от того зла, на которое нечаянно напал. Здесь возможны даже мотивы нравственные, мотивы похвальные. Нередко убийство совершают ввиду того, что человек раздражен силой неправды тех, против которых убийца в минуту запальчивости направляет свою преступную руку.

Многие страны, которые опередили нас своим юридическим опытом, страны, которые более нас имели примеров, более думали над вопросами права, давно выработали у себя образцовый суд, которым мы владеем только несколько лет, -- многие страны с давнего времени признали между этими двумя родами убийства такую разницу, что эти два преступления существенно отделены одно от другого. В то время когда первое рассматривается как тяжкое преступление, и руд над умышленным убийцей совершается при помощи представителей общественной совести, которые всегда призываются в самых важных делах, -- запальчивые преступления во многих странах рассматриваются как такие деяния, которые не колеблют сильно общественный порядок; этого рода дела разрешают судьи в малом составе, потому что здесь нет уже такой кары, которая идет на преступника умышленного.

Наш закон в этом отношении составляет некоторое исключение. Правда, и он уступил требованиям справедливости: наш закон смотрит на запальчивое убийство, как на такое преступление, которое наказывается слабее; этот род убийства рассматривается как преступление низшего порядка. Но эта разница не выражена в такой существенной форме, как это сделано в других странах. У нас запальчивых убийц приводят сюда, рассматривают вопрос об их участии при вашем участии, а вы, господа присяжные заседатели, уже по опыту знаете, что вас призывают на дела самые важные: где одни коронные судьи затрудняются разрешить вопрос о виновности, там законодатель призывает на помощь голос общественной совести.

Объяснить подобного рода аномалию в нашем уголовном процессе очень легко: наше Уложение отстало от нашего процесса. В то время как мы пользуемся теперь судом самой последней выработки, судом, который может поспорить с судебными учреждениями стран более культурных, наше Уложение на несколько лет старше.

Но старость не везде достойна уважения. В нашем Уложении еще осталось много такого, что не подходит к требованиям науки и нуждается в усиленной работе серьезной мысли. Наше Уложение написано в то время, когда о новых судебных учреждениях не было и помину, когда судебный процесс составлял канцелярское производство, от которого общество было совершенно удалено; когда судебные



дела решались руками слишком не подготовленными, когда, по русской пословице, работа делалась топором там, где нужен искусный резец. В то время учение такого рода, которое бы различало убийство умышленное и запальчивое, умело бы отнести данное, деяние к той или другой категории,-- такое учение казалось не под силу,-- не под силу тем, кто редактировал Уложение и творил суд и расправу.

Вот почему законодатель дал несколько более общую форму понятию о запальчивом убийстве и не обособил это преступление такими резкими признаками, по которым оно существенно отличалось бы от преступлений тяжких. Вот почему разрешение вопроса о том, к какой категории отнести то или другое деяние, передано суду с участием представителей общественной совести.

Но ввиду строгости закона, ввиду важности преступления, называемого убийством в запальчивости, недостаточно было бы остановиться только на том, не подходит ли настоящее деяние к этой категории: это противоречило бы и тем данным, которые дало нам судебное следствие.

Вот почему я должен сказать, что одним спором о том, к какому из двух видов убийств относится настоящее деяние, я не могу ограничиться: задача моя не будет выполнена, обязанности мои будут нарушены. Я должен идти далее, и сам законодатель дает мне для этого средство.

Законодатель знает еще случай убийства,-- это случай, когда от моих насильственных действий последовала чья-либо смерть, и хотя в моем намерении и не было мысли нанести ее. Здесь законодатель принимает во внимание, что все-таки моя рука была причиной смерти, убийства человека, хотя мысль и не шла за этим. Такое деяние законодатель рассматривает более снисходительно, и раз признают, что, причиняя смерть, преступник не имел умысла, законодатель рассматривает это деяние как менее наказуемое, более терпимое, причем рассуждает так: здесь рука была в несогласии с головой.

Но так как за грех, который совершила рука, за неимением возможности наказать преступную руку, пощадить голову и душу, наказывают ч_е_л_о_в_е_к_а в целой его личности, а не какой-либо отдельный член организма, то поневоле приходится рассматривать это деяние как более слабое, которое является продуктом лишь одной руки, без всякого участия головы.

Вот третья форма преследования со стороны законодателя за деяния, производящие насильственную смерть.

Тем не менее, законодатель не мог остановиться и на этом. Правда, с большой трудностью, с большой борьбой шаг за шагом уступая требованиям науки и опыта, законодатель должен был признать, что совершаются убийства нередко в таком состоянии, когда суду человеческому нет места, когда обвинению нет- основания. Это -- убийства, совершаемые в таком состоянии человеческого духа, когда воля и разум оставляют человека.

В прежнее время трудно соглашались на подобного рода суждения. В летописях старых уголовных судилищ записаны отвратительные протоколы, рассказывающие о колесовании и других тяжких наказаниях, которым подвергались сумасшедшие и безумные за то, что в сумасшествии и безумии совершали те или другие деяния.

Уступая постепенно требованиям жизни, науки и справедливости, законодательство пошло дальше. Не только тот, кто безумен или сумасшедший от рождения, кто неизлечимо болен, бывает в таком состоянии; бывают в таком состоянии и люди, доведенные до болезни обстоятельствами жизни, сложившейся под влиянием особенных условий, которые оставляют в душе те нагноения, под давлением которых человек легко отдается известному току страсти, без всякого участия разума и воли.

Это -- те деяния, которые законодатель называет убийством в состоянии умоисступления и доказанного беспамьяства.



При этом законодатель *вовсе не карает* и объясняет это тем, что человек ,в это время делается бессмысленным животным, человек делается просто машиной, представляет собою странную смесь, смесь разумной воли с безволием. Законодатель знает преступление, зажигательство в беспамятстве, -- такое преступление, для которого нужен известный ряд действий, известная осторожность, сообразительность: как, куда и в какое время пойти, что зажечь, *чем* зажечь и т. д., но и в этом случае законодатель допускает доказательства совершения подобного рода деяния в умоисступлении.

Таким образом, пред нами четыре категории одного и того же преступления. К какой из этих четырех категорий, отнести данное дело, -- это будет служить предметом того слова, с которым в последний раз я обращаюсь к вам в интересах подсудимого.

Признаюсь, я немало удивляюсь тому недоверию, с каким отнесся представитель обвинения к выводам того эксперта, который по обстоятельствам дела высказал свое мнение о болезненном состоянии подсудимого в момент несчастья.

Замечательно в этом отношении устроена человеческая мысль; вообще, с развитием и образованием, каждый любит наблюдать всякий внешний факт, всякое внешнее явление природы, и истолковывать причины внешних явлений, не только текущих, но и давно протекших. В горах мусора мы находим причины нынешнего состояния земли, в той или другой форме открываем причины, действовавшие за сотни тысяч лет, а пылкое воображение заходит даже за миллионы лет.

Но когда исследуем человека, то большей частью, как только привяжем известное деяние к делу его рук, так и полагаем, что задача мысли уже окончилась, что весь вопрос уже разрешен: чья рука совершила, того воля повинна. За человеком, *вне его*, причин не ищем и не признаем.

Прием отчасти разумный, но только им часто злоупотребляют. Разумность его вот в чем состоит. Судебный закон, запрещающий под страхом наказания известное деяние, признает самое суждение о нем мыслимым только под одним углом зрения: человек нравственно свободен и нравственно ответственен в своих деяниях. Но когда человек расстраивается, когда его мысли и чувства идут в разлад с действиями, тогда человек *вовсе не ответственен* за свои деяния, ибо он не есть необходимый автор тех или других действий и совершает их с такой необходимостью, с какой совершаются внешние явления природы.

Если так, то, собственно говоря, суд и положения закона будут пустыми словами. Если мы признаем человека совершившим известное деяние в силу роковой необходимости, значит, он есть та лейденская банка, в которой совершилось то или другое действие, подлежащее исследованию науки. Суд, которому надлежит разобрать, кто виновен и кто не виновен, будет взамен суждения кидать в рулетку о виновности или невиновности человека; но может ли быть речь о виновности человека, которому суждено было совершить то или другое деяние? Может быть, со временем мы узнаем и то, что теперь, по мнению одного из экспертов, находится вне власти науки, обладающей еще малым запасом опыта и наблюдений. Может быть, со временем при новом толчке метафизических, философских воззрений тот инстинкт, который живет во всех, главным образом в обществе обыкновенных практических людей, настолько восторжествует, что придется иметь счёты с каждым деянием. Пока же я считаю совершенно соответствующим требованиям времени понятие об ответственности человека, доколе действия его имеют своей подкладкой свободную волю, потому что и нравственный человек может совершить безнравственный поступок.

Но при этом надобно одно помнить, что человек -- не бог и не демон, что силы его не безграничны и он не может справиться со всякими тягостями, которые идут ему навстречу. Человеческая душа в этом отношении похожа на человеческое тело.



Самый рассудительный человек, отправляясь из одной местности в другую, конечно, старается идти по прямой дороге, -- идет прямо, подходит к самой цели своего путешествия; но вдруг навстречу ему буря, от которой нет возможности спрятаться; как бы человек ни был убежден в крепости своих сил, но ему остается одно -- пасть на землю -- и выждать, пока буря пройдет.

Сильная буря бывает не только вне человека, но и внутри его; эту бурю представляют собой страсти, которые волнуют человека и разлагают его внутренний мир. Как бы ни был благоразумен человек, как бы он ни желал удержаться от известного зла, но если ему придется повстречаться в собственной жизни со страстями, принявшими размер бури, то разум, который идет прямо, совесть, которая содействует тому, чтобы не шататься в стороны, замолчат, если только вполне разыгралась буря.

Поэтому, как в душевной области, так и в области внешней, не тот благоразумен, кто не падает, несмотря ни на какую бурю, а тот благоразумен, который не позволяет себе пуститься в дальний путь в то время, когда его может застигнуть буря и засыпать ему песком глаза.

Но человек -- не бог, силы его ограничены, он должен, по возможности, избегать всяких душевных бурь и не насаждать в своей душе тех мелких, сорных растений, которые, развившись, могут потом человека погубить. Когда раз, по неосторожности ли человека или под гнетущим давлением внешних причин, в душе его посеяны те или другие семена, то из семян этих, равно как из семян, брошенных в хорошую почву, совершенно естественно выходит роскошная растительность. Как вырастают деревья из семян, так точно из причин являются поступки уже помимо воли человека.

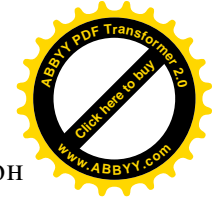
Вот ввиду этого обстоятельства в настоящее время господствует учение, что не нужно быть сумасшедшим навсегда, не нужно быть безумным навсегда, но что можно быть в состоянии невменения, в состоянии того душевного угнетения, которого не существует прежде события, к которому не бывает возвращения и после него.

С таким случаем, как я думаю и даже убежден, в настоящее время мы имеем дело.

Чтобы понять, в каком состоянии духа и в каком состоянии нравственной ответственности был Н. А. Лукашевич в ту злополучную ночь, в которую совершилось убийство Ф. В. Лукашевич, нужно себе представить всех действующих лиц той печальной драмы, которая разыгралась в семействе Лукашевичей. В этой драме, как и во всех драмах, которые мы видим на сцене, есть главные действующие лица, есть второстепенные артисты и есть люди без слов. Главными действующими лигами в этой драме являются покойная Ф. В. Лукашевич, Н. А. Лукашевич и отец его А. П. Лукашевич. Изучая их характер, их свойства, мы найдем очень многое; мы увидим, что многое, что выполняется волей и характером отдельного человека, есть результат соединения трех взаимно противоположных, несходственных элементов, которые, однако, вместе дают сплошную картину ссор в их семейной жизни.

Эти три лица я назвал. С одним из них, подсудимым, вы, конечно, знакомы более всего, ибо ему посвящались эти дни. Для определения характера этого человека и того, как он мог поступить в злополучную минуту, мы найдем немало данных в его жизни. Но как у дерева первые ростки определяют его будущий Штамб и крону, так детство и первые годы ребенка нередко влияют на образование будущего характера, -- иначе немислимо говорить о семейных чертах.

Детство Н. Лукашевича не радостное. Хотя мы здесь недостаточно подробно изучили семейную жизнь отца Лукашевича с первой его супругой, но одно оказалось несомненным, -- что Н. Лукашевич очень рано был лишен родительской



ласки; его увезли подальше от Екатеринослава, в Петербург; из Петербурга он отправился к немцам, в Ригу, где и закончил свое воспитание.

Потом мы встречаем его на театре войны. Про дом свой он знал так, как евреи знали, живя в Египте, про обетованную страну, -- что там есть что-то кипящее млеком и медом. На самом же деле, этой страны он не знал, он только мечтал о ней.

Вместе с тем он был лишен главного условия, необходимого для правильного роста того здорового дерева, которое называется "нравственным человеком", -- того условия, которое природа предоставляет с рождения всякому человеку: это -- участие матери, которого Н. Лукашевич никогда не видел.

Я не думаю, что только во втором браке старика была плохая семейная жизнь. Не было ли и во время первого брака каких-нибудь печальных страниц, которые заставили мать предпочесть держать своего сына вдали от семьи?

Но отсутствие матери едва ли может быть заменено чем-либо. Гувернантки и бонны, окружавшие его с раннего детства, едва ли могли посеять в нем какое-нибудь нежное чувство.

Затем он провел свое детство исключительно в мужской школе, в среде мальчиков, в немецком заведении. Понятно, что у него не могло образоваться той необходимой нежности и ласки, которые сообщает человеку материнское воспитание.

Таким образом велось воспитание Н. Лукашевича. Потом, когда он поступил на службу, то был уже человеком зрелым, с характером жестким. Служебная обстановка его также была чужда элементов нежности. Судьбе угодно было поставить его жизнь так, что даже общественная деятельность не приучала к нежности. Едва он успел поступить на службу, как вдруг, по стечению исторических причин, общих для всей России, ему пришлось очутиться в действующей армии, сразу стать лицом к лицу с кровью и страданиями; тут уже и речи не могло быть о развитии нежных чувств.

Там он проводит год. После -- возвращается в дом, но здесь застаёт уже существенную перемену. В этом доме давно уже нет матери; в этом доме завелась другая женщина, на правах матери, -- Фанни Владимировна, которая имеет своих детей. В доме совершенно другая обстановка. Отец, естественно, мог привязаться, по известным нравственным и физиологическим условиям, и к этой новой женщине. Но привязанность мужа к жене никогда не могла связать мачеху и пасынка той любовью, которая лежит в самой крови, в самом факте рождения.

Поэтому привязаться к мачехе, почувствовать родственные к ней отношения он не мог. Если эта женщина не отличалась особенно высокими нравственными качествами, если она не имела с ним нравственного общения, то, конечно*, отношения между ними с первого же дня должны были быть натянуты, потому что не было того сдерживающего элемента, который примиряет родственной кровью людей даже после вспышки. В то же время его волнуют совершенно другие качества мачехи...

Но школа и служба научили его такту, научили сдержанности, военная дисциплина выработала в нем терпение. Конечно, не любовью к мачехе я объясняю ту выдержку, которая являлась ответом на различные сцены. Не родственным чувством, не духом любви, не примиряющим началом руководился Н. Лукашевич, когда подобного рода сцены оставлял без вредных последствий и часто, уходя без обеда, оставляя на несколько часов родительский дом, бродил с ружьем по полям.

Сдержанность долго его выручала. Но сдержанность без чувства примиряющей любви представляет собой здание из досок, не сбитых гвоздями, здание крайне непрочное и весьма опасное для прикасающихся к нему. Сдержанность -- это только средство угнетать волю, загонять снаружи внутрь болезненные наросты.



Такт и сдержанность напоминают мне те хозяйственные распоряжения, существующие в некоторых городах, когда накапливающиеся в домах нечистоты, вместо того, чтобы вывозить за город, в самых домах закапывают в землю. Снаружи все прилично и как будто. есть порядок, но в сущности эти нечистоты накапливаются, накапливаются и заражают ту почву, которая скрывала их. Таким образом, результатом сдержанности являются те горькие плоды, которые, постепенно развиваясь в душе человека, заражают весь внутренний его мир.

Заражение это было тем ужаснее, что противовеса в этой душе и со стороны не находилось. И сама Фанни Владимировна была далека от чувств ласки, дружбы: она вовсе не старалась посеять семена этих чувств в своем пасынке Николае, равно как и в прочих лицах, с которыми она проживала по нескольку времени.

Таков Н. Лукашевич в момент приезда его в родительский дом.

В родительском доме живет Фанни Владимировна. Я о ней дурного ничего не скажу и вместе с прокурором разделяю мнение, что на несчастную женщину много наговорено лишнего. Но я считаю возможным пока утверждать только следующее: что у ней характер был никуда не годный. Это я знаю не только из слов домашних, во и из показаний беспристрастных посторонних свидетелей, вроде мирового судьи Ковалевского, Кисель-Загорянского, Орловского и некоторых других.

Вы помните: к кому она ни адресовалась, на всех производила одно и то же впечатление, -- в натуре ее для всех заметна была какая-то раздражительность. Приезжает к одному посоветоваться, чтобы начать дело с мужем. Тот говорит: "нельзя с мужем!"... "Ну, так с сыном!"... Очевидно, начинается дело с сыном не потому, что она действительно была обижена: она начинает одно дело взамен другого, чтобы только удовлетворить известному состоянию духа.

Вы знаете от других лиц, живущих в доме, какой несдержанный характер был у ней по отношению к пасынку. Вы помните, сколько происходило печальных сцен, ярко обрисовывающих историю развития отрицательных качеств ее души.

Другой вопрос -- что было причиной всех этих историй, кто был виновником в подготовке той почвы, на которой цвели всевозможные семейные безобразия. Быть может, почва эта была подготовлена проделками ее мужа. Может быть, совершенно справедливо, что он женился на ней только для того, чтобы вместо гувернантки по условию, за известную плату, иметь гувернантку даром, к чему присоединялись еще и другие удобства. Быть может, он, не любя второй жены, не любил и детей от второго брака. Все это, может быть, правда. Сам он далеко не владел таким сердцем, которое было бы вполне застраховано от других. Нет!

Но если только эти факты верны, то, конечно, женщина, которая мечтала в браке найти новую, обеспеченную, мирную жизнь, не могла быть счастлива. Она не могла относиться с уважением к человеку, который изменяет обязанностям семьянина, будучи в таком возрасте, когда бы уже нужно об измене отложить всякое попечение и настоятельно думать только о том, чтобы нам не изменили по нашим преклонным летам. Отсюда рождается неуважение к мужу, а вместо чувства любви, которое проявляется иногда каким-то придаточным обстоятельством, начинаются те неприятные столкновения, которые весьма естественны в семье, где вместо любви и верности, вместо желанья долго жить-поживать, -- длинный ряд неудовольствий, обманов, измен и оскорблений.

Все это неизбежно сообщило некоторую резкость ее характеру. На ту беду она была в некотором отношении счастливой матерью, то есть слишком часто приносила детей своему мужу. У ней появилось естественное чувство материнства. Но, как совершенно справедливо заметил и представитель обвинительной власти, с рождением детей известные отрицательные качества мачехи должны были сделаться ей вполне присущими. Самые добрые качества, качества матери, любящей своих детей, обуславливали в данном случае качества злой мачехи.



К этому надобно сказать, что, кажется, была у ней еще одна привычка, -- привычка считать в своем доме главным лицом то лицо, которое было главным в ее жизни до выхода замуж: слишком большое значение она придавала своей матери... Видимо, она мало знала ту давнишнюю, вековую истину, что, женившись, люди оставляют отца и мать и живут самостоятельной жизнью. Таким образом, она вводила в семью еще новый элемент, которому желала дать значение. Входя в дом, она получала права, которых не имели родные первой жены. Весьма естественно, что подобные права не могли не вызвать чувства отвращения в детях от первого брака, а также и со стороны жениной родни. Вы помните, что едва только состоится примирение, немедленно пишется матери: "приезжайте!". Здесь вы видите новую черту характера, которая обуславливала семейный раздор.

Третье действующее лицо -- старик Лукашевич. Я уже сказал мимоходом что он стар, но не весь... Кроме того, сколько? видно из дела, у него есть еще одно качество, качество рисоваться своим горем. Он даже здесь на суде, когда рассказывал длинную повесть своих отношений ко второй супруге, указывал, что когда он жаловался на свою супругу, то она была кругом виновата, а он всегда был прав. Я оставляю этот вопрос в стороне. Но должен сказать, что есть лица, которых до известной степени можно назвать страстотерпцами: они любят рассказывать о том, что много страдают, даже болеют, но никогда не страдают за тех, кому сами причиняют страдания; они даже не понимают этих страданий и не упоминают о них; свою впечатлительность они слишком высоко ценят.

Старик Лукашевич был именно таким человеком. Он помнил только то, что ему нехорошо, но что другим худо, хотя бы и по его вине, он это совершенно забывал. Он, не стеснясь, здесь на суде рассказывал о своем горе, причем напирал на то, что все его горе шло от второй жены. Следовательно, он не мог делиться с ней своими страданиями, он должен был искать на стороне покровителя, такого человека, с которым мог бы поделиться своим горем.

На ту беду в семейство, по окончании войны, приезжает Н. А. Лукашевич. В доме ему представилась картина не очень радостная. Многое изменилось из прежнего, с тех пор, как он помнил себя. Правда, не было такого разрушения, какое изобразили Тюрен и Гофман. Но ведь привычки детства к известному месту вызывают много святых воспоминаний; иногда тот же самый образок, переставленный на другое место, мы считаем не тем; от самых незначительных перестановок мебели картина совершенна меняется. Лукашевич почувствовал, что здесь не тот дом, о котором он мечтал: в нем пахнет чем-то чужим; вместо меда -- он встречает горечь; вместо обетованной страны -- он попадает в египетское рабство.

Затаенные чувства отца, по-видимому, быстро раскрылись, пред старшим сыном. Чтобы не сделать с ним того же, что сделал с младшим, Леонидом, отец рассказывает ему свое горе, свои страдания, причиной которых выставляет свою жену. Как отцу не верить? Может быть, и в самом деле все это так, тем более, что ему передана только одна сторона медали. Как видно, он искренне верит всему этому; он вполне сочувствует отцу, он переживает все-то, что происходило в самом страдающем отце.

В это время мачеха возвращается, и начинаются постоянные сцены. Мачеха все свое раздражение переносит на пасынка. Заботясь о судьбе своих собственных детей, она возмущается тем, что человек молодой, способный работать, живет у них в доме, ест их хлеб и т. д. Вместе с тем она раздражается еще и по другим причинам. Вероятно, под впечатлением рассказов своего отца, сын как словом, так и делом везде показывал, что он принимает сторону отца. А ей казалось, что ее значение в доме умалено, что отец отдает преимущество сыну, что отец даже может подпасть под влияние сына. Неприятностям нет конца. Конечно, ей надобно



было попробовать объясниться откровенно, но мы не видим к этому ни малейшей попытки...

Таким образом, душа Фанни Владимировны была совершенно закрыта для старика Лукашевича. Хотя, по рассказам свидетеля Орловского, старик Лукашевич имел прекрасные сведения в деле сельского хозяйства и, быть может, в других подобного рода отраслях знания, но он был плохой знаток человеческой души и тех педагогических обязанностей, которые лежат на всяком отце по отношению к детям. Он слишком щедрой рукой расточал перед сыном свою семейную злобу, он слишком возбуждал сына против своей жены. Вы знаете не одну из тех сцен, которые происходили в Харькове, в Одессе и которые переданы отцом сыну в том смысле, что виной всех этих сцен была Фанни Владимировна.

Но и на этом дело еще не остановилось. Александр Петрович сам раздражался на жену и естественно, что во время раздражения перетолковывал всякий факт в сторону, возможно худшую. Он не остановился даже перед очень злым подозрением и указывал на тот знаменательный факт, что с отъездом Фанни Владимировны в Екатеринослав в том же городе живет Леонид; указывал на тот факт, что между ним и мачехой ведется знакомство. Он начал подозревать и, может быть, сам распространял мнение о том, что сын Леонид и жена Фанни дошли до такого порока, которым возмущается здоровое нравственное чувство.

Требовать от отца фактических доказательств сыну было трудно и даже невозможна, потому что подозрение уже засело крепко в душе его.

Вы сами хорошо знаете тот житейский факт, как часто мы любим верить всему худому, если это касается наших врагов, наших недругов, хотя бы на самом деле этого и не было.

Я думаю, что Николай Александрович под влиянием отцовских рассказов о том зле, которое совершается в семье, быть может, склонен был даже верить и этому безобразному слуху.

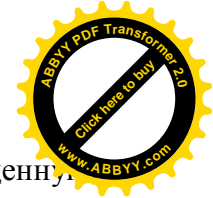
Я лично готов разделить с прокурором мнение, что, может быть, бедная женщина была оклеветана. Я могу подыскать другие человеческие причины, почему Леонид сошелся с мачехой: у них было общее горе, так сказать, они имели одного общего врага.

Леонид часто жаловался, что отец его обижает в средствах; как он говорил, отец, будучи его опекуном, жил на его средства, а ему отпускал необыкновенно миниатюрную долю, -- 30 руб. в месяц; он жаловался, что отец даже нанес ему какое-то сильное оскорбление. Во всяком случае что-то одно из двух случилось. Но то количество денег, которое оказалось накопленным в банке, исключает возможность подозрения отца в растрате сиротских доходов, хотя большей частью опекуны пользуются сиротскими деньгами и весьма часто злоупотребляют в своих отчетах. Не допуская в данном случае растраты и злоупотреблений со стороны старика Лукашевича, как опекуна, нельзя, однако, не признать, что он действительно стеснял своего сына: он слишком урезывал его средства к жизни, так что Леонид должен был бросить школу. Таким образом, в действиях отца он видел сознательную умышленную деятельность лица, которое мешает ему жить.

Точно так же Фанни Владимировна сознавала, что муж нарушает священнейшие права жены и необыкновенно тяжело поступает с ней.

Вот в этом общем чувстве неудовольствия к человеку, который не прав по отношению известных обязанностей: к одному -- отца, к другому -- супруга, могла возникнуть такая приязнь, которая обыкновенно соединяет людей, преследуемых, обиженных одним я тем же сильным врагом.

Но люди часто бывают слишком подозрительны, и А. П. Лукашевич объяснял все эти отношения иначе. Объясняя их иначе, он не преминул заподозрить самую



ужасную связь мачехи с пасынком. Этого рода подозрение он вселил в смущенную, уже потерявшую равновесие, больную душу Николая Александровича.

Когда подобного рода мысль была высказана ему, то я думаю, что душа его возмутилась до крайней степени. Если бы даже в первый момент, когда сведения эти были ему сообщены, он немедленно дошел до известного зла, и тогда бы человек мыслящий не отказался от изучения этой души.

Для того чтобы уяснить душу, переполненную терпением, подавленную тяжелыми сценами, которые перед ней разыгрывались, мы обыкновенно для объяснения этих запутанных, трудных вопросов обращаемся к мудрецам времени. Мудрец веков, один из величайших английских писателей, разработав вопрос о том, как действуют страсти, как действуют разного рода душевные состояния на людей, вывел перед нами образ человека в лице Гамлета не с такими духовными силами, с какими является совершенно обыкновенный человек, Н. А. Лукашевич; но и Гамлет, когда выяснилось, что перед его глазами совершается безнаказанно величайшее из преступлений, что мать отправила на тот свет его благородного отца, сию же минуту обличает супружескую ложь и делается убийцей матери; возбуждение это продолжает действовать и далее: через несколько времени он становится убийцей своего отчима и убивает себя.

То же самое высокое чувство, только в более минорном тоне испытывал Н. А. Лукашевич.

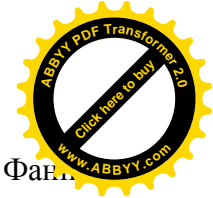
Перед ним восстали образы всех сцен, постигших и оскорбивших его отца в самых священных его правах. Перед ним рисовалась Фанни Владимировна, насмевшаяся над самыми священными узами семьи. Вместе с тем он и сам являлся страдающим лицом. Страдания его возбуждались с двух сторон. С одной стороны, его волновало чувство гнева. С другой -- ужасная связь между такими двумя лицами, от которых нельзя было этого ожидать.

Хотя последнее еще не доказано, но одного подозрения уже достаточно для того, чтобы задавить в человеке все помыслы свободной воли. Правда, человек в таких случаях представляется очень жалким; при этом неизбежны бывают такие явления, что человек даже не видит того, чем он возмущается. События, которые другому человеку не позволяют даже подозревать, становятся доказательством таких отношений между мачехой и пасынком, которых на самом деле, быть может, и нет.

Тем трагичнее становится это положение, что о таком подозрении ему передавали люди слишком близкие. Будучи искренно убежден в этом, при каждой новой встрече с ней он все более и более раздражался. Но это было уже раздражение больного человека: потупились глаза, заговорила неловко, явился проблеск какого-то чувства, -- все это рисовалось в превратном виде. Может быть, чувство раскаяния Фанни Владимировны заставило бы подать ей руку помощи, уговорить ее отступить от этого зла; может быть, Фанни Владимировна, ни в чем не повинная, желая разрушить подозрения своего мужа, при встрече с ним хотела открыть ему какой-то секрет, хотела указать главного виновника всех семейных несчастий, -- но и это ее желание, вызванное, быть может, прежними дружескими отношениями, раздражало его.

К чувству гнева присоединилось еще другое чувство, которое тот же великий писатель показал в другом герое. Это -- герой, который заподозрил свою жену в супружеской неверности, который долго скрывал свое подозрение, но чем дальше продолжал скрывать в себе это сильное чувство, тем оно более развивалось, пока и человек не сделал дикого зверя. Он готов был растерзать своего врага...

В таком положении находился слабый духом Н. А. Лукашевич. Между тем покойная Фанни Владимировна, которая как-то особенно умела вызывать к себе ненависть людей, окружавших ее, нисколько не думала о примирении с пасынком. Напротив, она систематически, искусственно старалась волновать его и для этого



придумала еще новый способ -- судебный процесс. В начале октября месяца Фанни Владимировна предъявляет против подсудимого в высшей степени неосновательный иск. Она заявляет мировому судье, что пасынок оскорбил ее, ссылаясь на массу свидетелей. Об этом процессе узнают в окрестности. Процесс этот еще прибавил сраму и без того обесславленному семейству Лукашевича.

Прокурор указал здесь на то, что, может быть, факт оскорбления и существовал, но он только не был доказан, потому что свидетели были расположены говорить в пользу Лукашевича. Утверждать это -- значит говорить: я понимаю и умею отличить истину, а мировой судья не мог понять. Но мировой судья -- такая же судебная власть, власть, так же способная отличить правду от неправды, как и представитель обвинительной власти. Свидетель рассказывал здесь о том впечатлении, которое произвело это дело на вызванных судьей свидетелей: они полагали, что призваны свидетельствовать по обвинению в чем-нибудь Фанни Владимировны. Но когда им объявили, что они призваны свидетельствовать за нее о каком-то несбыточном преступлении, то они были крайне удивлены!

Итак, это дело было вызвано известной чертой характера Фанни Владимировны, и мировой судья понял его совершенно правильно. Такого рода факт на душу, зараженную уже известными чувствами, не произвел целебного действия. Это никоим образом не привело к примирению и успокоению. Но зато эта новая сцена имела несомненное влияние на последующие действия.

И вдруг к этому присоединяется еще последнее извещение о смерти брата, отношения которого к Фанни Владимировне уже давно волновали Николая Александровича, заставляли его задавать себе вопрос: "правда или нет?".

В одно прекрасное утро застрелился в Екатеринославе младший брат Николая Александровича -- Леонид. Я не стану говорить об отношениях братьев, потому что не обладаю достаточным материалом для того, чтобы установить как факт безусловно верный, что отношения братьев были очень дружеские.

Но кто знает человеческую жизнь, ее условия, человеческую природу в особенности, тот не сочтет абсурдом, когда я скажу, что раздирательная сцена, происшедшая у гроба безвременного погибшего брата, много содействовала скорому появлению другого гроба в том же семействе. Нет надобности мне доказывать существование пламенной братской любви и дружбы. Смерть -- это момент, в который даже вражда, существующая между родственниками, умолкает. Если же не было вражды, а было до известной степени равнодушие, даже внутреннее чувство злобы за тот грех, который подозревался, то все это должно было смолкнуть у гробовой доски. Уже самый гроб все это примиряет.

Брат должен был думать о мотивах самоубийства не без тех мучений совести, которые говорили о грехе, какой он сделал. Стоя у могилы безвременного погибшего, у могилы человека, во цвете лет прекратившего свою жизнь, стоя у гроба, конечно, этот человек должен был, глубоко возмущившись, отыскивать причины смерти. Чтобы найти причину, вызвавшую преждевременную смерть, необходимо было сначала определить, какого рода могли быть эти причины.

Причин внешних не было. Денежные средства его, расстроженные прежде, только что поправились. Не было у него и долгов, чтобы из самолюбия, не имея возможности удовлетворить кредиторов, покончить с собой. Может быть, боязнь предстоящей ему воинской повинности? Но из писем Леонида, которые здесь были прочитаны, мы можем прийти к заключению, что он знал жизнь и не мог не знать, что при настоящих облегченных правилах военная служба не так страшна, как это кажется. Он мог ясно понимать, что полтора года казарменной службы не были так тяжелы, чтобы предпочесть ей пулю в лоб... Может быть, он боялся быть убитым на войне? Но война кончилась, и было бы нелогично, боясь быть убитым через год, убить себя в нынешнем году.



Очевидно, такого рода мотивов не могло быть. Мотивы, должно быть, лежали в внутренних причинах, в том разобщении, в каком он находился с родительским домом. Может быть, он застрелился от тех подозрений, которые относительно него ходили по городу. Может быть, и совершенно напрасно покойный обвинялся в том зле, которое дикая молва приписывала ему. Может быть, только из-за того, что он открыто принял сторону мачехи, пользовался ее ласками, про него говорили такие вещи.

Можно еще много подобрать разных других мотивов этого самоубийства. Во всяком случае это будут мотивы гадательные: действительные мотивы были известны только ему, и он унес их с собой в могилу.

Так можно было рассуждать о мотивах самоубийства. Но брат его не мог так рассуждать. Он жил и рассуждал под тем мирозерцанием, которое в душе его было подготовлено рассказами отца, теми рассказами, которым он вторил.

При этом я не могу не вспомнить одну сцену из того события, которого он был свидетелем. В тот день, когда труп брата поднесли под нож анатома, чтобы в нервах, застывшей крови, в разрезанном сердце отыскать то, что можно было отыскать только в душе, которая под нож анатома не дается, -- в эту минуту нужно было пощадить Николая Александровича... От высоких тонов струны лопаются на всяком инструменте. И струны человеческой души не так крепки, чтобы могли выдерживать высокие тоны...

Но даже на самых похоронах разыгралась сцена, которой верить трудно. В ту минуту, когда нужно было смолкнуть и забыться ради общего горя, его личность сильно задевают. На могиле брата ему посылают такой привет, который не мог пройти бесследно даже в здоровой душе. У гроба брата ему шлют такой привет: "и ты, подлец, пришел сюда!".

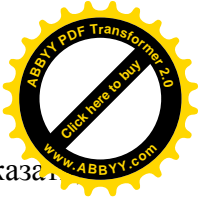
Одна эта сцена на могиле могла окончательно разорвать уже подорванную душу. Но у него оставалось одно утешение, у него было одно целебное средство, -- это деревня, куда он мог уехать, откуда Фанни Владимировна выехала навсегда, взяв с мужа обязательство платить ей известную сумму денег.

Вдруг и она едет туда. Это была непростительная ошибка с ее стороны, которая доказывает, как неосмотрительно поступала покойная, как легко она могла делать ошибки. Она едет в этот дом именно в то время, когда возмущение в доме достигает самых крайних пределов, когда стены вопиют против нее; когда не только родственники, но и чужие возбуждены и разделяют мнение о том, что в смерти Леонида она виновна. Приезд ее был необыкновенно неудачен: она как будто приехала именно для того зла, которое совершилось, для того несчастья, которое обрушилось на голову подсудимого.

Когда Николай Александрович возвратился в деревню после похорон, то его здоровые, крепкие нервы были уже сильно подорваны. Он постоянно ходил по комнате и не мог ничем заниматься. Его волновала исключительно несчастная судьба покойного. Кроме того, он находился под новым тяжелым впечатлением, которое испытал на могиле брата. Он привык к подобным впечатлениям, когда они получались за столом, при одних и тех же людях, до известной степени привыкших к этой обстановке. Но ведь слова, сказанные ему Фанни Владимировной на могиле брата, были произнесены во всеуслышание при массе окружающих посторонних людей, которые могли подумать бог знает что.

Слова эти, быть может, роковые, в ту минуту остались без всякого ответа с его стороны. В то время он еще не мог чувствовать всего значения этого ужасного привета, но такого рода чувства долго действуют и не скоро остывают.

Судьбе угодно было, чтобы Фанни Владимировна приехала в дом поздно вечером, в тот самый момент, когда Н. А. разговаривал о смерти брата с Абраменком, когда он уже сильно волновался. В этот момент, когда шла речь о



только что пережитом несчастье, рана, которая еще не зажила, которая, так сказать, затянулась лепкой пленкой, вновь была расцарапана. Он вновь начал представлять себе всю историю этого самоубийства, того порядка, который довел до самоубийства его брата, и всего того, что совершилось. В это время сердце его опять начало сильно биться, душа его опять стала страдать от того, что уже было пережито; но в это время он еще сильнее страдал, потому что перед ним сразу восстали образы многих сцен.

Я не знаю драмы более удачной по эффекту, нежели та, которую разыграла природа. В то время, когда Николай Александрович говорил Абраменку: "больше никто, как она виновата", -- в это время входит Еременко и говорит: "Фанни Владимировна приехала".

Об этом докладывают в 11 часов ночи, когда все домашние имели полное право успокоиться. Понятно, какое состояние духа должно было быть у него.

Когда здесь об этом состоянии духа спрашивали людей сведущих, то по данным науки ответ был один и тот же. В это время его аффект достиг высшей степени. Это был такой толчок человеческой природе, при котором в одно мгновение разум и воля оставляют человека: человек делается рабом всего того, что им пережито. Яд, которого так много накопилось в груди, моментально разливается по всему организму, не встречая себе ни малейшего противодействия...

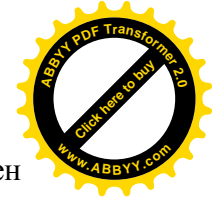
Таким образом, мы покончили с главными действующими лицами и с той обстановкой, при которой они действовали.

Чтобы понять, как быстро эта сцена достигает своей развязки, мне придется сделать отступление в сторону. Нужно напомнить вам, кто были свидетели этой сцены. Большая доля вашего внимания отдана интересному показанию свидетельницы Тюрен. Ее показание действительно интересно тем, что к каждому ее слову можно относиться без всякого доверия. И тем не менее она -- самая достоверная свидетельница не только самого факта, но и вообще того, что тамошняя атмосфера вырабатывала из людей посторонних.

В своем рассказе г-жа Тюрен представила целую повесть о том, что совершалось в этом доме. Правда, ей все казалось в мрачных красках, но некоторые явления она объясняла очень удачно. Г-же Тюрен все мерещились поджоги, убийства, отравления и т. п. Может быть, это особенность ее болезни, может быть, русские нервы не похожи на нервы людей тех стран, где, благодаря тесноте населения, преступления очень часто совершаются и принимают иногда такие тонкие формы, до каких наша широкая русская натуре еще не доросла. Во всяком случае она все видела в темных красках, в таких красках, для названия которых нет даже слов в том языке, на котором она с ними говорила. Вероятно, она всю свою повесть охотнее сообщила бы там, где ей пришлось бы говорить на своем природном языке, без всякой подделки.

И я думаю, что в этом доме были причины, которые располагали к такому мирозерцанию людей, живущих там...

С другой стороны, были люди, которые разделяли общее горе, и это было тем опаснее, что разделяли искренно. Во время ссоры, происходившей в коридоре и в той комнате, где совершилось несчастье, туда и сюда постоянно бегали те женщины, которые жили в качестве гувернанток и бонн. Г-жа Тюрен несколько раз вбегала в детскую -- узнать, спят ли дети; то она опять бежит в коридор, то побежит в столовую. Каждому незначительному действию она придает значение. Когда Фанни Владимировна начинает раздеваться с целью остаться ночевать, г-же Тюрен представляется, что она ищет пистолет. Когда приехавшая с Фанни Владимировной г-жа Волковникова выходит в переднюю (мы этого вопроса не разъяснили, хотя его очень легко можно было разъяснить), ей кажется, что она ходила за пистолетом, что она принесла его или что-то вроде этого.



Всему этому верить нельзя. Но поверьте же тому, что, вероятно, г-жа Тюрен первая вызвала всю эту страшную сцену.

После долгой суеты она обращается к Николаю Александровичу и говорит: "спешите к вашему отцу, -- ваша матушка, Фанни Владимировна, что-то хочет сделать ему".

Такие слова, как искра к пороху, были поднесены человеку, находившемуся в высшем состоянии аффекта, человеку, который в этот день подводил итог своим страданиям.

К несчастью, мы поздно хватились, что эксперты не слышали обвинительного акта; поэтому я не мог с достаточной ясностью рассмотреть вопрос о самых выстрелах. Между прочим, здесь было сказано, что все выстрелы были сознательно направлены в цель. Но для нас не имеет особенного значения число выстрелов. Для нас важен другой вопрос, -- о той решимости, с какою был сделан первый выстрел. Если вы вспомните то расстояние, на котором были произведены выстрелы, то увидите, что первая пуля была смертельна, что она положила женщину на месте, а прочие уже вошли в труп, -- изнизали тело уже погибшей женщины. Очевидно, человек, который производил эти посмертные выстрелы, уже не владел своей рукой. Тут был человек, который действовал в страхе того зла, которое отделило его руку от сознания, окончательно помраченного искрой -- криком Тюрен и поздним приездом Ф. В. Лукашевич.

Убийство совершается мгновенно. Раздирательные сцены следуют одна за другой. Проблеск сознания, что сделано великое, ужасное зло... Он бежит заявить сельской полиции о том, что случилось. Его догоняют, берут. Он приходит в какое-то иступление, начинает рвать на себе платье. Потом это возбуждение сразу переходит в минорный тон. Сын становится на колени перед отцом и просит прощения: "прости, отец! я убил твою жену, мою мачеху". Отец, в свою очередь стоя на коленях, умоляет сына не налагать на себя рук.

Может быть, эти факты, которые имели место вслед за выстрелами, не подходят под картину аффекта. Но представители науки, конечно, не откажут мне в ответе, если бы я предложил им такой категорический вопрос: все ли случаи и все ли формы душевных болезней записали они на страницах своей медицины. Можно ли признать, что изложенные по этому предмету правила никогда никаким исключением подвергаться не могут. Наверное, представители науки скажут, что на подобные вопросы другого ответа, кроме отрицательного, быть не может. Действительно, многие факты в судебной медицине уже обобщены, но наука еще далеко не дошла до таких положений, которые бы представляли собой математические истины, по которым можно было бы заранее определить, каким логическим законом разрешается та или другая задача. Поэтому дальнейшее поведение Лукашевича, если и не вполне совпадает с тем, как обыкновенно разрешаются аффекты, все же не может служить доказательством того, что он совершил зло сознательно. Наконец, один из представителей науки обратил здесь внимание на случай, который свидетельствует о замечательной сознательности убийцы в состоянии аффекта. Это -- случай, когда отец в состоянии аффекта зарезал своих детей, затем отправился в полицию заявить об этом и просил, чтобы, прежде чем его арестуют, ему подали медицинскую помощь.

Странные бывают явления в природе человека, и наука еще не сказала нам своего последнего слова. Сознание и бессознательность, воля и безволие так перепутываются в душе человека, что, сколько бы мы ни изучали ее природу, мы никогда не можем сказать, что в будущем каждый отдельный факт из жизни отдельного индивидуума не представит ничего такого, что бы нам еще не было неизвестно, еще не было нами вполне изучено...



(После трехминутной паузы). Около мертвого трупа Фанни Владимировны началось судебное следствие. Судебный следователь собирал данные о том, каким образом произошла эта смерть. Судебный следователь убедился даже в том, что мертвый труп унес не одну жизнь, что он унес с собой в могилу жизнь, еще не начавшуюся, а только зарождающуюся. Но уже сам прокурор и обвинительная камера не признали возможным вменить в вину Лукашевичу, что он знал, что мачеха его была беременна. Этот факт был вне его воли. Я даже не знаю, для чего упоминают о том, что она была беременна, если это не может иметь никакого отношения к его деянию. Я думаю, что правильно поставленная юстиция всякое случайное зло, стоящее вне вашей воли, не может выставлять на суд, доколе желает, чтобы ваш приговор был приговором чистого правосудия. И если указывают на то, какие неожиданные последствия произошли от того или другого деяния, последствия, которые были для нас самих неизвестны, но от которых пострадало еще другое лицо, этим сводят современное состояние юридической науки на старые понятия, согласно которым наказание есть возмездие за содеянное зло. Между тем современное правосудие имеет более высокие задачи, его цель не карать и не миловать, а разрешать вопросы о виновности по внутреннему убеждению и чистой совести.

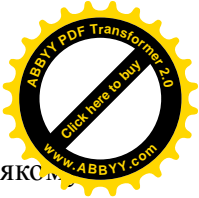
Прежде чем закончить защиту, мне нужно остановиться на некоторых мелких замечаниях представителя обвинения, в речь которого вкралось несколько уродливых соображений. Со стороны обвинения вам, между прочим, было указано на то, что на настоящем следствии некоторые свидетели, преимущественно свидетели подсудимого, сознательно добавили такие события, о которых не было сказано на предварительном следствии, предполагая, что такие события, хотя их на самом деле не было, помогут подсудимому.

Я должен защитить подсудимого от подобного нареkania.

Здесь было указано на показания двух свидетелей -- старика Лукашевича и г-жи Тюрен. Г-жа Тюрен прямо заявила, что некоторые события, записанные на предварительном следствии, не совпадают с тем, что она говорила. Я думаю, если принять во внимание, что следствие писано на русском языке и писано совершенно правильно, чисто русским человеком, то не будет никакого сомнения в том, что некоторые слова свидетельницы, плохо владеющей русским языком, прошли еще через цензуру судебного следователя, -- он выправил мысль просто в интересах грамотности. В этом легко убедиться, если мы вспомним показания Тюрен, данное ею здесь на суде.

Но не так резко соображения прокурора относительно показаний Тюрен, как относительно показаний отца Лукашевича. Прокурор говорит, что Лукашевич не поместил в предварительном следствии важного факта, на который ссылается здесь на суде, -- об одном из номеров той гостиницы, в котором будто бы покойная жена его имела свидание с пасынком Леонидом. Что подобного рода факт создан свидетелем, а не нами, что в этом факте немало не повинен подсудимый, это видно из характера нашей защиты. Едва настоящее дело в силу закона перешло в мои руки, как подсудимый слишком хорошо понял и узнал, что на такие сомнительные данные представитель его на суде ссылаться не будет; что представитель его на суде не возьмет на свою совесть, не будучи внутренне убежден, клеветать на покойную женщину; что в этом отношении защита ограничится только указанием на то, что А. Лукашевич, верил ли или не верил он, говорил ли правду или клеветал на свою покойную жену, но об этом факте передал Н. Лукашевичу и таким образом пустил в его больную душу подозрение.

Во всяком случае анализ этого случая с покойными, второй женой А. Лукашевича и сыном его Леонидом, вовсе не входит в нашу задачу. Да это не может входить и в задачи представителя обвинения, потому что эти лица уже ушли



от нашего земного суда, уже явились на суд небесный, на тот суд, который всякому воздает по делам его.

Я не буду останавливаться на других мелких соображениях представителя обвинения. Представитель обвинения, между прочим, указывает на то, что показания всех домашних свидетелей, совершенно согласные между собой, возникли на почве предварительных соглашений, что показания эти о характере покойной резко отличаются от показаний других, посторонних свидетелей относительно ее личности. Понятное дело, что подобного рода соглашения могут быть установлены только теми лицами, в интересах которых заставить свидетелей показывать на суде в ту или другую сторону.

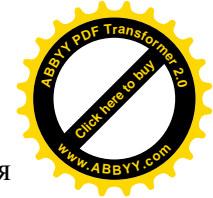
Но у нас есть русская пословица, довольно удачно обрисовывающая характер человека, живущего в семье: "в людях -- ангел, не жена; в доме, с мужем -- сатана". Человек может быть дома один: может и поссориться, и подраться; но как только явится к посторонним людям, он будет совершенно другой. Чувство ли деликатности, ложный ли стыд, но во всяком случае в человеке есть какое-то чувство, которое заставляет его дома быть одним, а вне дома другим. На людях человек всегда сдерживается от тех резкостей, которыми судьба его наделила. Поэтому нет ничего удивительного, если Фанни Владимировна вне дома выказывала иногда такие качества, которых в доме никогда не проявляла.

Вот те мелкие замечания, которые я имел сделать против некоторых соображений прокурора.

Оканчивая свою обвинительную речь, прокурор опять-таки остановился на предумышленном убийстве. Отрицая в данном случае возможность убийства в запальчивости, он утверждал, что Н. Лукашевичу выгодно было- оставаться в доме отца, и этим мотивировал то деяние, которое Лукашевич совершил против Фанни Владимировны. Если бы только такая цель была в деянии подсудимого, то Лукашевич, не будучи от природы совершенно лишен здравого смысла, должен бы был понимать, что хотя бы даже подобного рода деяние и совершилось, хотя бы ему и удалось удалить этим путем из дома мачеху, но и сам он в этом доме не остался бы. Когда люди прибегают к известному средству, то прежде всего думают о целесообразности этого средства. А если мы остановимся на целесообразности, то увидим, что в этом отношении прокурор безусловно проиграл свою мысль. Если подсудимому выгодно было остаться в доме из каких-то корыстных видов, то ему также было выгодно в те тяжелые дни, когда брат его лежал в гробу, быть как можно ласковее с своей мачехой, которую он считал виновницей смерти брата. От смерти брата он вдвое разбогател и должен был отказаться от всякого возмущения против мачехи. Обыкновенно, когда к таким людям переходят средства, они бывают очень рады тому, что чья-то другая рука позаботилась о благе их и увеличила их благосостояние. Таким образом, эти два основания умышленного убийства падают сами собой.

Я вначале предполагал другой способ исследования настоящего дела, способ подведения деяния подсудимого под запальчивость и думал, что по отношению к запальчивости мне придется долго бороться с прокурором. Но прокурор сам достаточно подробно доказывал, что запальчивости здесь нет; по его мнению, здесь должно быть что-нибудь одно: или выше запальчивости, или ниже запальчивости. Таким образом, сам прокурор указал нам на невозможность подведения настоящего деяния под запальчивость и раздражение.

Тем не менее, перед нами все-таки мертвое тело, которое бы не было мертвым, если бы в 1878 году не существовало ночи на 25 октября. Но так как эта роковая ночь была, и обстановка ее вызвала печальный поступок, со стороны Н. Лукашевича, то я утверждаю, что здесь никакого умысла не было, что сама рука поднялась в то время, когда он был выведен из себя сбивающим с толку криком г-



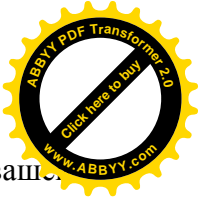
жи Тюрэн, которой казалось, что отцу его грозит какая-то опасность, которая испугалась какой-то драки.

Если это так, хотя Н. Лукашевич поступил и неосторожно, тем не менее, он не совершил преступления, а впал в преступление. Его душа, подавленная предшествующим горем, была доведена до такого состояния, которое, наконец, превысило его силы: он не перенес этого и впал в преступление. Часто у людей не его темперамента, не его закала, у людей старых, опытных, являются такие действия, которые свидетельствуют нам, что многие люди, в высшей степени достойные, по-видимому застрахованные обстоятельствами жизни от всяких побуждений к тому или другому преступному деянию, нередко совершают преступления. И их оправдывают. И понятно: когда заберется в душу тот червь, который покоится неизвестно где, и незаметно подтачивает духовные силы человека, то вдруг, моментально, существо разумное превращается в существо непонятное, -- в дикого зверя... Вот почему я думаю, что и в данном случае будет справедливо признать то состояние души, при котором нет места для вменения, то беспамятство, до которого человек был доведен путями, часто скрытыми от нас.

Я всегда разделяю то убеждение, что есть истинный смысл у законодателя, который менее преследует людей, совершивших известное зло, если предшествующие обстоятельства располагали к этому. Например, если в пьяном виде человек совершает преступление, то принимается во внимание, каким образом человек очутился в таком состоянии. Хотя человека в пьяном виде законодатель признает в известной степени больным, тем не менее, если человек искусственно, умышленно привел себя в такое состояние, то он карается. Если же человек постоянно находится в состоянии опьянения, то законодатель относится к нему гораздо снисходительнее.

Опьяняет душу человеческую не одно вино. Опьяняют еще и страсти: гнев, вражда, ненависть, ревность, месть и многие другие, между которыми бывают даже благородные побуждения. Поэтому нет ничего труднее, как анализировать душу и сердце человека. Здесь нужно тщательно разобрать, какое чувство закоренилось в груди, откуда это чувство явилось, когда и как оно развивалось. Конечно, рассудительный человек должен избегать стоять на такой дороге, где ему грозит какая-нибудь опасность. Но вот что бывает: иногда то или другое злое чувство искусственно развивают даже те самые лица, против которых оно направлено. В деле Лукашевича замечательно ясно обрисовалось, как это злое чувство сеяли другие: Николай Александрович представлял собой только почву, на которой щедрой рукой разбрасывались разного рода семена, семена того, что могло только угнетать его душу. От самого рождения он был лишен всего того, что могло бы правильно развить ему душу. Наконец, после тяжелой болезни, после изнурительных походов он довольно долгое время почти на каждом шагу сталкивается с несчастной Фанни Владимировной, в которой было все, что угодно, но только не было любви, мира, не было человеческих отношений к Николаю Лукашевичу. Поэтому я думаю, что голос защитника в этом случае есть голос смысла человеческого, что я говорю не столько в интересах подсудимого, сколько в интересах правосудия. Сознывая, что на моих плечах висит судьба подсудимого, я в то же время чувствую, что на моей обязанности лежит высокая задача содействовать правильному отправлению правосудия.

Представители науки ясно сказали нам, что мы имеем дело с аффектом, причем один из них отнес, и совершенно основательно, этот аффект к аффектам высшей степени. Вы скажете, как же при совершившемся зле, при признании со стороны самого Лукашевича того факта, что он застрелил свою мачеху, каким же образом можно сказать, что он в этом не виновен. Я не стану на это возражать моими



соображениями, но скажу словами одного из достойнейших представителей вашей власти,-- словами одного из присяжных заседателей.

Недавно, две-три недели тому назад, Петербургский окружной суд после довольно продолжительной сессии закончил свои занятия. Когда председатель суда благодарил присяжных этой сессии за тот труд, который они понесли, то из среды их выступил почтенный профессор Таганцев и, обратясь к суду с речью от лица своих товарищей, сказал: "Присяжные заседатели, в свою очередь, приносят признательность суду за доставление им возможности исследовать всякое дело до мелочей"... При этом профессор добавил: "Уходя из залы суда, присяжные чувствуют, что они честно исполнили свою задачу. Да не смутит суд тот факт, что мы нередко выносили оправдательные вердикты, несмотря на то, что деяния были совершены. Для того чтобы признать человека виновным, еще недостаточно одного факта, им совершенного: мы ищем в деянии его злой воли, и только тогда, когда злая воля оказывается в наличности, для нас виновность человека становится вне всякого сомнения; в противном же случае совесть не позволяет нам обвинить человека".

Что же такое злая воля? Мне думается, злая воля -- это та способность человека, тот грех человеческой души, когда, понимая зло, человек желает его сделать, когда личный или имущественный интерес стоит у человека на первом плане; когда из-за того или другого интереса человек не желает знать ничьих страданий; когда самолюбие или корысть заглушают для него стоны и мольбы жертвы; когда человек говорит себе: "в моей собственной воле предписано ему умереть, и он должен умереть".

Вот злая воля. Карайте злодеев! Но когда такой злой воли нет,-- пощадите душу человека. В том или другом зле часто сквозь гниль просвечивает чистое существо. Когда вы увидите, что есть только верхушка зла, а внутри лежит здоровый зародыш души, случайно зараженной, тогда по совести вы должны освободить такую душу от злокачественных наростов, вы должны пощадить ее. Когда вы увидите руку, обгавленную кровью, видна белая, чистая, на преступление неспособная рука, тогда остановитесь: эта рука еще способна на человеческие дела. Если я сию минуту наткнулся на лужу крови, виновата ли моя рука. Когда другая сила, сила внешних обстоятельств натолкнет меня на зло, будет ли моя вина.

Когда перед вами предстанут люди, в исследовании жизни которых вы увидите, что в их катехизисе написано, что для личных или даже общественных целей они готовы на всякое убийство,-- карайте их. Когда перед вами стоят люди, которые в борьбе за тот или другой принцип, задавшись известными целями, не разбирают средств,-- карайте их, не останавливаясь ни на минуту. Но когда перед вами стоит человек, которого вина вот в чем: одни пришли, меч принесли; другие наточили; сама жертва пришла, подняла этот меч; нашлись и те, которые дали меч в руки,-- то вы подумайте, можно ли покарать этого человека.

Таков, по обстоятельствам дела, оказывается подсудимый Н. Лукашевич.

Меч ему принес отец, точили его друзья, плохие друзья -- гувернантки и бонны, которые каждую минуту приносили все необходимое, чтобы меч не затупился в его руках. Сама жертва играла с этим мечом, она не оберегалась, а когда меч был уже поднят, она, сама пришла, хотя тот вовсе и не думал...

Все совершилось в одну минуту. Это не было то раздражение, при котором человек схватил оружие и пошел отыскивать жертву. Это редкий случай, что жертва сама пришла, сама искала возможности, чтобы из человека сделать зверя.

Припомните, что происходило в то время в коридоре дома Лукашевичей, припомните всю ту суету, какая там была, и скажите достойный ваш приговор. Он пишется не на теле, а на душе человека, который понесет позор.



Не могу не закончить мое последнее слово просьбой к вам, просьбой, обращенной когда-то в этой зале к другим слушателям, которые сказали одно слово, и человек был чист от суда.

Вероятно, многие из вас в часы досуга бывали в театре и видели на сцене перед собой пьесу, в которой ревнивый любовник, в диком возбуждении своих страстей, пронзает кинжалом своего врага. Вы тогда приходили в экстаз, вы аплодировали, вам это казалось таким естественным чувством: вы аплодировали не тому, кто так верно изобразил эту ужасную сцену, но тому, кто действовал в этой сцене.

И вот перед вами теперь стоит и смотрит на вас человек, который не роль играет, а со страхом ожидает вашего приговора на всю жизнь. Перед вами стоит человек, который не искал преступления, но которого преследовало преступление. Неужели для этого человека уже ничего более не осталось, кроме сурового, кроме холодного обвинительного приговора. Суровый приговор окончательно отравит его на всю жизнь. Семейство Лукашевича много пережило горя. В этом семействе весь путь испещрен кровью, труп лежал, жизнь уничтожалась.

Спросите ваш здравый смысл, будет ли суровый приговор соответствовать интересам правосудия. Посоветуйтесь об этом с вашей умиротворяющей совестью и скажите ваш справедливый приговор,-- мы примем его с благодарностью...

* * *

Лукашевич был признан виновным в убийстве, совершенном в припадке умоисступления. Присяжные вынесли ему оправдательный вердикт.

Дело Люторических крестьян

По настоящему делу к суду были привлечены 34 крестьянин" села Люторич, Епифанского уезда, Тульской губернии (в том числе одна женщина), обвинявшиеся в оказании сопротивления должностным лицам при исполнении ими судебного решения.

Суть дела состояла в следующем. Долгие годы люторические крестьяне безропотно несли все обязанности и терпели страшный гнет и притеснения со стороны местного помещика -- графа Бобринского и его управляющего Фишера. После реформы 1861 года" крестьяне были "наделены" землей. Жители села Люторич называли эти наделы весьма образно "сиротскими" и "кошачьими", так как размер их не превышал 3/4 десятины на душу. Этого клочка земли не хватало крестьянам уже при "наделении" их землей. С приростом же населения этот крошечный "надел" тем более стал уменьшаться, раздробляясь на все мелкие части. Кругом деревни, небольшом пространстве, залегали графские владения. Крестьянам, имеющим сильную нужду в земле, некуда было за ней обращаться" кроме графа. Это обстоятельство прекрасно понимал управляющий имением и сам граф и пользовались им для выжимания из крестьян последних барышей.

Земля сдавалась крестьянам по договорам под стопроцентную сумму неустойки и под различными условиями, в результате которых крестьяне оказались окончательно закабаленными. За несвоевременную уплату причитающихся ему по договору сумм Фишер взыскивал с крестьян вплоть до продажи всего принадлежавшего крестьянину имущества, обрекая его на нищенство. В



отношениях с крестьянами, пользуясь их неграмотностью, Фишер допускал, помимо всего прочего, много злоупотреблений, в результате чего обманым путем выкачивал из крестьян дополнительные доходы. Так было и на сей раз. По одному из обязательств Фишер получил исполнительный лист на 8219 рублей 29 коп. Исполнительный лист был передан приставу для взыскания. Однако, когда пристав приехал для производства описи, крестьяне его не допустили к ее производству и заявили, что управляющий вновь их обманул, так как по этому листу ими деньги уже уплачены. Через несколько дней; пристав вновь вернулся для производства взыскания, однако на этот раз уже в сопровождении с Цат. Навстречу ему вышли женщины села Люторич, которые отказались добровольно исполнить решение о взыскании и просили не приводить его в действие до тех пор, пока не возвратятся мужчины, которые все вместе пошли в имение графа просить его о справедливости.

Пристав не пожелал ожидать возвращения мужчин и приступил к делу. Видя безуспешность просьб, толпа крестьян, не допуская пристава к деревне и доведенная до отчаяния, набросилась на волостного старшину и стала отгаскивать его в сторону, нанося ему при этом побои. Когда на помощь старшине бросились солдаты, крестьяне схватили и их и не отпускали до тех пор, пока пристав не вынужден был отказаться от производства на этот раз описи.

Через день в село прибыла уже рота солдат, под наблюдением которой все необходимые формальности по описи имущества были произведены.

В связи с тем, что дело это получило широкую огласку, возможности расправиться с крестьянами за неповиновение, без суда, были упущены, и крестьяне были преданы суду. За ходом процесса следила вся Россия. Под давлением передового общественного мнения суд вынужден был вынести крестьянам сравнительно мягкий приговор. Трое крестьян были присуждены к тюремному заключению, один -- к штрафу, а в случае несостоятельности -- к аресту, остальные -- оправданы.

Дело слушалось 17 декабря 1880 г. в московской судебной палате с участием сословных представителей. Защищал всех подсудимых Ф. Н. Плевако.

* * *

Господа судьи и господа сословные представители!

Документы прочитаны, свидетели выслушаны, обвинитель сказал свое слово -- мягкое, гуманное, а потому и более опасное для дела; но жгучий и решающий задачу вопрос не затронут, не поставлен смело и отчетливо.

А между тем он просится, он рвется наружу: заткните уши, зажмурьте глаза, зажмите мои уста,-- все равно, он пробьется насквозь; он в фактах нами изученного дела; его вещают те заведенные порядки в управлении владельца деревни Люторич, те порядки, которые я назову "картиной послереформенного хозяйства в одной из барских усадеб", где противоестественный союз именитого русского боярина с остзейским мажордомом из года в год, капля по капле, обессиливая свободу русского мужика и, обессилив, овладел ею в свою пользу.

Всякая чуткая душа, всякая пробужденная совесть слышит, требует его от меня, если я обойду его. И я призываю вас благосклонно выслушать мое слово в этом направлении.

Не думайте, что я уклоняюсь в сторону от целей правильно понятой защиты; не бойтесь, что увлекусь публицистическим интересом предложенного вашему суду дела, перейду пределы судебного диспута.



Чувство меры удержит меня. Оно внушает мне, что 34 подсудимых,-- да и не 34, а один человек,-- могут требовать, чтобы я не делал из их спины той площадки, на которой просторно можно разгуливать и декламировать темы из области общественных вопросов, оставив на произвол судьбы то, что должно всецело овладеть моими силами,-- заботу о будущем подсудимых, заботу о том, чтобы отклонить или умалить удары, направленные на головы этих несчастных грозой карающего закона.

И я глубоко убежден,-- и вы мое убеждение разделите,-- что в настоящем деле история возникновения событий 3 и 5 мая имеет глубокие корни в прошлом; что бытовой очерк дела осветит его в настоящем свете, выведет наружу действительные, но в глубине скрывшиеся причины, мощные, неотвратимые, наличность которых меняет точку зрения и на событие, и на доказательства, и на объяснения его.

Ведь можно счесть за твердо установленное положение, что крестьяне, заявившие 22 апреля, 3 и 5 мая, что они к описи не допустят постоянно говорили, что они ничего не должны и никакого судебного решения о взыскании не знают.

Раз у них было такое убеждение, раз, по их словам, к ним, как снег на голову, свалился исполнительный лист, вручаемый им приставом, то для доказательства этого положения мы должны изучить отношения крестьян ко взыскателям,-- к немцу-управляющему и к графу Бобринскому. Только там вскроются нам факты, которые убедят нас, что крестьяне могли себя считать не в долгу; там увидим данные, убеждающие нас, что крестьяне не могли знать ни договоров, ни решений, против них постановляемых, что они могли не верить сообщенному им приставом сведению о взыскании и думать, что их протест есть протест правды против вопиющего неправосудия.

Изучим бытовые факты дела.

В Епифании почти половина земель -- вотчина графа Бобринского. Особенность этого имения, не встречающая себе соперничества в губернии, это -- ничтожный надел, нищенский, как его обзывают в литературе, "кошачий" -- по меткому выражению голодающего остроумия.

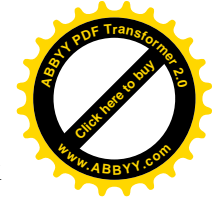
Крестьяне не могут жить наделом: работа на стороне и на полях помещика для них неизбежна, к ней они тяготеют, не как вольно договаривающиеся, а как невольно принуждаемые,-- а в этом идея и смысл системы, практикуемой управляющим графских имений.

Конечно, наделы в имениях графа согласны с буквой закона; требовать от него большего во имя идеального права нельзя. Для тех людей, которые не знают долга, выше предписанного законом, которые не чувствуют, что закон -- это минимум правды, над которой высится иной идеал, иной долг, внятный только нравственному чувству,-- для тех людей факт данного надела -- факт безупречный, полная мера обязанностей графа к крестьянам, чуждая всяко-то захвата и вреда.

И мы не станем осуждать *de jure* графа Бобринского. Мы уясним пока, что же вышло из этой полуголодной свободы.

Родилась необходимость вечно одолжаться у помещика землей для обработки, вечно искать у него заработка, ссужаться семенами для обсеменения полей. Постоянные долги, благодаря приемам управления, росли и затягивали крестьян: кредитор властвовал над должником и закабалял его работой на себя, работой за неплатеж из года в год накапливавшейся неустойки.

В этом положении, где кредитор властвовал, а должник задыхался, уже не было и помину о добровольном соглашении. Чудовищные контракты и решения доказывают, что управление не соглашалось, а предписывало условия; вечно кабальные мужики тоже не соглашались, а молча надевали петлю, чем и



завершались и вступали в силу свободные гражданские сделки крестьян с их бывшим владельцем.

Не хочется думать, чтобы текст договоров, нами оглашенных на следствии, измышлялся в кабинете графа, а не в конторе немца Фишера. Зная графа Бобринского как москвича, предводителя здешнего дворянства, тщетно защищал я мысль, что эти неустойки от 50 до 100 процентов на сумму долга, просроченного семь дней, эти условия на землю, отбирающие ее назад с семенами, урожаем и работой, если среди обыденного за это время безденежья не уплатит долга крестьянин-арендатор и прочее и прочее,-- неведомы ему, чужды ему и без согласия его придуманы бессердечным управляющим.

Десять лет, из года в год, идут они -- одинаковые, разорительные, бесчеловечные условия, и граф не знает их!...

Нет, защитить эту мысль -- задача выше моих сил. Нельзя десять лет не знать, что за малейшую неисправность одного подвергают штрафу в мою пользу целую общину, нельзя не видеть, что в книги экономии ежегодно вносятся тысячи рублей неустоек, собранные из нищенских копеек, взысканные с крестьянства,-- нельзя, нельзя...

Тут вина не кончается человеком, пишущим договоры и требующим по ним, каким является всегда Фишер. Нет, чувство, различающее добро и зло, ясно и вразумительно судит о тех, кто мог, но не хотел положить конец подобному злу.

Я не фразы говорю. Каждое слово мое документально основано. Редкая готовность епифанского съезда мировых судей, выдавшего мне сведения о деятельности мирового судьи Голикова, присуждавшего с 1866 по 1877 год Фишеру и экономии графа Бобринского долги и неустойки,-- дала мне возможность представить вам опись дел -- свыше 350.

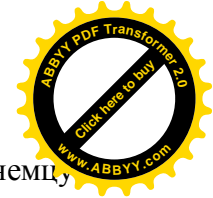
Из этой описи вы видите, что количество дел в год достигало 54. Погодно и по суммам мы получаем такие итоги: в 1866 году Фишер предъявляет всего 2 дела -- на 150 рублей; на следующий год уже 7 дел, и взыскано долгу и неустойки 1542 рубля; в 1869 году -- 5 дел и 103 рубля; в 1870 году разыгрывается аппетит Фишера, и он учиняет 51 дело и получает 9937 рублей; в 1871 -- 54 дела и 13032 рубля; в 1872 -- 28 дел и 7858 рублей взыскания. В 1873 году настало затишье -- рука бьющего устала и учинила только 5 дел и только 1309 рублей взыскано. Но мир был недолог. Со следующим годом вспыхнуло новое гонение; 20 дел и 6588 рублей в 1874 году; 12 090 рублей и 56 дел в 1875; в 1876 году -- 50 дел и 14942 рубля; в 1877 году -- 38 дел и 11026 рублей.

Я прошу вас перелистать предъявленный документ. Иски неустоек по 30 процентов, по 50 процентов, по 100 процентов за долг мелькают перед глазами. Неустойки в 300 и 500 рублей -- целыми десятками. А прочтите договор: полная неустойка за неуплату малой доли долга. Прочтите дело No 143 за 1870 год -- ищут долг и неустойку, крестьяне несут деньги судье. Деньги приняты, получены, а на неустойку в 50 процентов все-таки взят исполнительный лист. Прочтите дело No 158 -- ужасный, отвратительный договор: в случае просрочки -- изба, корова, лошадь и все, что сыщется в избе, поступает в неустойку. Присуждаются иски по удостоверениям волостного правления. Присуждено по удостоверению, данному волостным правлением!

Но довольно! Надо много терпения, чтобы читать эти ростовщические фантазии, которым давал значение и силу судья, живущий в наше время и творящий суд по уставам 20 ноября.

Стыдно за время, в которое живут и действуют подобные люди!

Пересмотрите, судьи; сами этот Документ. Дайте значение этим прогрессивно увеличивающимся неустойкам от 100 до 500 рублей. Примите во внимание красноречивый факт, что неустойки взыскиваются, а новые долги все образуются.



Значит, тяжелее жить крестьян в имениях, вверенных графом Бобринским немцу Фишеру. Значит, захлестнула их мертвая петля, если они видят, как с них тянут неустойку, которой позавидует любой закладчик, а они платят, должны и все-таки опять берут.

Представьте же себе эту печальную экономическую историю.

Не трудно увидеть, что постоянное нарастание неустоек сбило с толку крестьян. Не трудно понять, до чего они дошли, когда, по свидетельству Писарева, приняли условия на обработку полей целой деревней за присужденную неустойку. Не трудно понять, как росли эти неустойки неведомо для деревни, как в волостном правлении в 1877 году под № 17 вынесен приговор, уполномочивающий двух мужиков и впредь подписывать всякие условия о неустойках.

Думаю я, что в Люторичах жизнь после реформы была во стократ тяжелее дореформенного рабства.

До 19 февраля управляющий берет мужика, как берет всякую хозяйскую вещь, внесенную в инвентарь. Эгоистический расчет имел личиной человеколюбие.

Но настал день воли, подорвались эгоистические основания беречь своего раба, и личина сброшена. Из мужика выбиралось все, что можно выбрать. А не вынесет, умрет, -- что за дело. На пустое место найдется новый полуголодный, -- лишь бы десница Фишера не уставала жать, где не сеяла.

Сбил с толку люторический мужик в этом омуте счетов и сборов, и не мудрено, что заспорил.

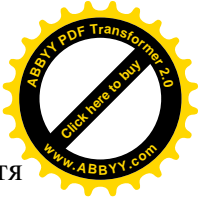
Впрочем, спору его против исполнительного листа, подкрепленного заемными письмами, судебное следствие дало такие веские аргументы, что всякому сомнению в добросовестном убеждении, что долг уплачен, нет места.

Между заемными письмами есть одно в 1000 рублей, сроком по 1 октября 1877 г. В исполнительный лист письмо это вошло всецело с процентами: искали всю сумму. А вот на следствии мы предъявили две расписки: из них видно, что признаваемый Фишером за его кассира Карнеев принял в уплату по этому заемному письму, до подачи еще иска, свыше 500 рублей. Фишер искал вновь полную -- 1000 рублей. Взыскание во второй раз именуется тяжким и гнусным поступком в нашем Уложении.

С беззастенчивостью, достойной удивления, немец-управляющий объяснил здесь, что эти расписки ошибочны, а поэтому он записал уплату, полученную Карнеевым, в 1876 году. Мало ли какие комментарии к русской записке приплетет его немецкое остроумие. Кто дал ему право своевольно игнорировать расписку, данную в уплату долга 1877 года? Я отрицаю этот комментарий, лишенный смысла, и смело, чтобы он слышал, говорю здесь: Фишер искал вторые деньги; он совершал противозаконное деяние против люторических крестьян.

Раз есть эти расписки, случайно уцелевшие у нас, раз Фишер, имея их, искал долг вполне, то есть скрыл уплату, публично искал не должного, -- получают все хотя частью доказанные показания обвиняемых, что они долг весь уплатили, и лишаются веры слова Фишера, что ему были должны все искомое. Он обличен в неправде, ему верить нельзя. Ложность долга доказывается и таинственностью иска. Решение заочное. Крестьян на суде не было. Отзыва не подано. Старшина не мог объяснить, оповещали ли крестьян о поданном иске, оповещалась ли им копия решения. Между тем, если крестьяне решились сопротивляться описи, убежденные в правоте, то не естественным ли предположением было бы то, что они боролись бы с иском в форме более законной, на суде, предъявили бы там платежные расписки. Но этого не было, ибо о деле от них таили, а суд ввели в заблуждение распиской одного из крестьян, кажется, старшины...

Но не только мужик-простак, но и юрист найдет основание доказать, что долг в 5200 рублей по трем заемным письмам был погашен. Вы знаете, что Фишер здесь



сознался, что многие договоры, а в том числе и долг по заемным письмам, хотя были написаны на его имя, но были долгами самому владельцу. Он сознался, что его заемные письма на 5200 рублей и долг Бобринского в 5600 рублей, об отработке которого натурой составлен договор в 1878 году,-- одно и то же.

В 1878 году составлен договор. Долг в 5200 рублей уже фигурирует в цифре 6600 рублей и раскладывается на шесть лет работ. Значит, в это время крестьяне, подписавшиеся здесь в получении денег, а на самом деле их не получившие, вступили в новый договор взамен прежнего долга. Это сделал и Фишер. Значит, заемные письма были уплачены путем *novatio obligationis* замены одного долга другим.

Вдруг вздумалось Фишеру,-- и он оплаченные заемные письма предъявил ко взысканию. По ним едут взыскивать. Не мужик, а всякий юрист завопил бы, что его грабят, совершают преступление. А если его к тому же и на суд не вызывали, он подумает, что здесь мистификация, повторение рогожской истории со староверческой кассой.

Фишер ссылается, что последующий договор уничтожен. Но благоволите прочесть, когда он уничтожен. Сомнительно, чтобы с уничтожением без оговорки восстанавливалась сила им погашенных обязательств, а еще менее доказано, чтобы крестьяне знали об уничтожении этого условия, а потому понятно, что они роптали 3 волновались, видя, что с них берут не должное.

Сомнительность долга и его более чем сомнительная нравственная подкладка -- ясны.

Посмотрите теперь, что же действительно сделали крестьяне деревни Люторич в борьбе с неправдой.

Первый день преступления -- 22 апреля.

Сходу объявлено о взыскании. Сход говорит, что долга нет и потому к описи допускать не следует. Никакого сопротивления не сделано. Пристав уехал по заявлению Фишера. Тут, очевидно, преступления нет.

Частное лицо, получившее повестку о неправильном взыскании, имеет право думать само собой о незаконности иска и сообщать, : нельзя ли опротестовать опись.

Деревенская община -- юридическое лицо. Она думает на сходке, и, по условиям юридического лица, она иначе не может думать, как вслух и речами. Сильные голоса того и другого на сходке, это -- рельефные мысли думающей юридической личности; здесь пользование своим правом, здесь нет преступления.

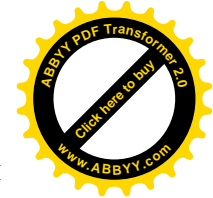
Если же 22 апреля не было преступления, а было полное законное пользование своими правами, была сходка крестьянского мира, обсуждавшего свои дела, то те или другие мнения, высказанные здесь, те или другие громче и внятнее выраженные мысли не могли сделаться преступными оттого только, что за 22 апреля последовали майские дни.

Суду вашему подлежат только эти последние, к изучению которых мы и переходим.

3 мая, по заявлению Фишера, прибыл вновь к описи имущества судебный пристав. Но он был уже не один. Его сопровождала полиция в количестве, внушающем уважение. Исправник, становой шли рядом, человек двадцать десятских, человек, десять урядников,-- словом сказать, тут были представители полиции старой и новейшей формации.

Но мужики не вышли к ним навстречу. Где они? Всем миром, за исключением старых да малых, они до свету ушли в сельцо Бобрики, к графу, просить его о милости, о неразорении.

Детски наивные, простоватые, они надеялись слезами умиловить взыскателя. Напрасное мечтание!



Им обещана одна милость: им сказано, что благодаря своему положению и влиянию, к ним пришлют подарок... в тысячу солдат"

И сдержано было джентльменское слово: не долго, всего два дня прошло, как деревня Люторичи дождалась барского пожалования!

Пока на пороге графского дома люторовцы ждали, когда примет их барин, к судебному приставу вышли одни бабы, да старые и малые мужики, оставшиеся в деревне.

Начались просьбы -- понятно о чем: они просили подождать, пока придут Сами мужья и братья, придут с милостью да с барским ласковым словом.

На просьбы их нет ответа: пристав идет без хозяев в дома начать опись.

Вдали показался скачущий всадник,-- то посол от крестьян; прислали его сказать, что надо подождать с описью, пока они придут, а они сами -- замешкались: барин еще спит и не выходит к ним выслушать их просьбу...

Тщетно, пристав идет делать свое дело.

В толпе начинается шум: одни плачут, другие просят. Все сливается в музыку скорби и ропота.

Но пристав, по словам его, лично к себе не видел ни одного оскорбления, ни одной брани.

Если же среди шумящего люда и раздавались бранные слова, то не судите за это строго: бранное слово -- это междометие народного языка, без него не обходится не только ссора, но и веселые, душевные речи. Я думаю, что и первые любовные ласки деревенского парня со своей возлюбленной не обойдутся без крепкого словца.

Ваше внимание должно остановиться на утверждаемом здесь факте оскорбления старшины.

Прошу вас припомнить, что старшина -- сельчанин той же деревни. Он одновременно и некоторая власть, а вместе и свой человек, родня, сосед обвиняемых. Как старшина, он мог принять за всех повестку, быть представителем юридического лица -- деревни. В его показаниях есть места, из которых видно, что он, и никто, кроме него, повинен в том, что повестка о вызове в суд была принята, а крестьяне не знали ни о суде, ни о решении. Он один настаивал на том, что крестьяне должны; но вместе с тем в его доме, в ожидании возврата крестьян из села Бобрик, не в меру другим, опись не производилась.

Немудрено, что крестьяне смотрели на него, как на ренегата, продавшего и разорившего их, и боялись, что своими, в качестве представителя деревни, действиями он свяжет их и здесь, опять приняв повестку, сделает для них обязательными и непоправимыми все действия пристава.

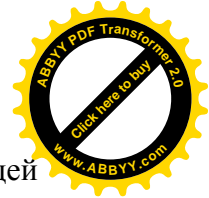
Крестьяне мешали ему быть их представителем, когда они сами хотят вступить в спор со взыскателем. Вот смысл удерживания, хватания его за руки и т. п.

Обвинение было направлено к тому, чтобы признать старшину властью, совместно с приставом приводившей в исполнение судебное решение и в этой должности получившей оскорбление.

Я допрашивал, были ли приглашены старшина и староста приставом и исправником? Ответы даны отрицательные и уклончивые. Если же старшина или староста явились не по призыву, а случайно, по своей воле, и на них не было возложено никакой доли в исполнение решения, то вопрос меняется.

Представьте себе, что пристав суда взял с собой для исполнения решения десять курьеров. Оскорбление одного из них во время исполнения решения -- преступное сопротивление.

Но если он взял девять, а десятый, мимо проходя, увидел товарищей, зашел самовольно, вступил в дело, начал хозяйничать и был бы оскорблен -- здесь сопротивлению места нет: он не орудие исполнения, он не связан с приставом



путем призыва или распоряжения в одно целое, в организм власти, приводящей решение в исполнение.

А старшина был в такой роли -- случайно находившегося на месте человека, а не власти. Крестьяне, не знавшие ни пристава, ни полиции, боялись одного,-- что старшина продаст их, и не пускали его представлять деревню.

Замечательно, что и 5 мая, когда вошли войска, ни войско, ни пристав, ни полиция оскорблены не были, но крестьяне держали за руки кандидата на сельского старосту -- одного из подсудимых, прося его не быть представителем деревни.

Мне могут возразить, что старшина и староста и без приглашения судебного пристава имели официальное значение при приведении решения в исполнение, что они были нужны для указания имущества должников и решения вопроса о том, не скрыто ли что-нибудь.

Глубокая ошибка! Исполнялось решение гражданского суда, а па Уставу Гражданского судопроизводства при таком исполнении деле взыскателя указывать имущество: за властью присылается, когда двери заперты, сундуки замкнуты, а розыски скрытого вне селения не входят в обязанность ни пристава, ни полиции.

Итак, я думаю, что оскорбление старшины здесь не имело места в смысле сопротивления власти, исполняющей решение суда.

Перейду к другому преступному деянию -- к склонению крестьян села Люторичи не допускать пристава до описи. Дело это приписывается нескольким подсудимым, громче всех об этом говорившим на деревенских сходах.

Согласитесь со мной, что мы должны считать только тогда возможным удостоверить существование факта, доказываемого не абсолютно верными доказательствами, когда природа факта не допускает или обстоятельства устранили лучшие и абсолютные доказательства. Но когда они, абсолютные доказательства, существовали, но их обошли и выдвинули только вероятные, тогда вера в факт падает.

Между тем в деревне Люторичи до 700 жителей; они все отказались допустить опись; они все, судя по ныне мной представленному приговору, считают себя незаконно разоренными Фишером. Вот кого или из числа которых и следовало бы спросить: кто вас подготовлял не допускать к описи? Они могли сказать, нуждались ли они в подстрекательстве или наболела у них эта мысль сама собой. А их не спросили, и на мимолетных плохо вяжущихся между собой впечатлениях урядников и полиций построили тяжелое обвинение.

Не верьте ему, господа судьи!

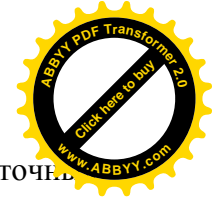
Но подстрекатели были. Я нашел их и с головой выдаю вашему правосудию: они -- подстрекатели, они -- зачинщики, они -- причина всех причин...

Бедность безысходная, бедность -- создание Фишера, одобряемое его владыкой, бесправие, беззастенчивая эксплуатация, всех и все доведшая до разорения,-- вот они, подстрекатели!

Одновременно, потому что одинаково невыносимо всем становилось, вспыхнуло негодование люторовцев против бесцеремонного попирания божеских и человеческих законов, и начали думать они, как им отстоять себя.

И за эту драму сидят теперь они перед вами.

Вы скажете, что это невероятно. Войдите в зверинец, когда Настанет час бросать пищу оголодавшим зверям: войдите в детскую, где проснувшиеся дети не видят няни. Там -- одновременное рычание, здесь -- одновременный плач. Поищите между ними подстрекателя. И он найдется не в отдельном звере, не в старшем или младшем ребенке, а найдете его в голоде или страхе, охватившем всех одновременно...



Я дал вам массу материала, я вручил вам бездну условий и решений, достаточно свести с ума и спутать в расчетах разоренную деревню.

Вы прочтете -- и физиономия подстрекателя сама восстанет в вашем воображении.

Сведем итоги.

22 апреля в селе Люторичах не было никакого преступления.. Сход, рассуждавший об иске и описи, пользовался своим правом думать о делах. В этот день они не могли знать, что появится пристав 3 мая, а следовательно, и думать о форме сопротивления, о насилии над старшиной.

3 мая -- день, подлежащий разбору с точки зрения Уложения. Оскорбление старшины не имеет связи с обвинением в сопротивлении. Его присутствие, случайное, не связанное в единстве действий с приставом, ставит оскорбление, ему нанесенное, в самостоятельный проступок, не подлежащий вашему суду в пределах нынешнего обвинения. На скамье подсудимых нет подстрекателей: подстрекательство -- в прошлом отношении Фишера и графа Бобринского к крестьянам и в массе документов, нами оглашенных.

Но защита, господа судьи, не должна самоуверенно ограничить свое слово отрицанием вины. Она должна смирить себя и предположить, что ей не удастся перелить в вашу душу ее убеждения о невинности подсудимых. Она должна, на случай признания фактов: совершившимися и преступными, указать на такие данные, которые в глазах всякого судьи, у которого сердце бьется по-человечески и не зачерствела душа в пошлостях жизни, ведут к снисхождению и даже к чрезвычайному невменению при наличности вины.

Наш закон знает такие обстоятельства. Начертав в статье 134 Уложения причины смягчения кары, он не остановился на этом. Законодатель знает, что есть случаи, когда интересы высшей справедливости устраняют применение закона. Законодатель знает, что есть случаи, когда мерить мерой закона -- значит смеяться над законом и совершать публично акт беззакония.

А обстоятельства именно таковы. Люторические крестьяне попали в такой омут, где обыкновенные меры были бы ужасны и бесчеловечны.

Не тысяча солдат, осадивших деревню и грозивших ей оружием и силой, ужасали их. Не страшен им был и сам начальник губернии, разбивший бивуак в четырех верстах от деревни. Нечего было, в свою очередь, бояться и ему войти в деревню обездоленных крестьян. Страшно и ужасно было долгое прошлое люторических мужиков, перепутавшее их взгляды и, кажется, сбившее их с толку.

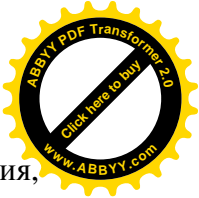
Десятки лет сосал их силы управляющий, десятки лет с сатанинской хитростью опутывал их сетью условий, договоров и неустоек. С торной дороги свободы 19 февраля они зашли в болото... Лешего не было, но хитрый и злой, их всасывал в тину кабалы и неволи Фишер.

В этом тумане потерялось все: вера в возможность просвета жизни, чутье правды и неправды, вера в закон и заступничество перед ним.

Оставалось еще одно чувство -- чувство надежды, что беззаконие, достигшее чудовищных пределов, может быть опротестовано, отдалено.

Мы, когда с нас взыскивают недолжное, волнуемся, теряем самообладание; волнуемся, теряя или малую долю наших достатков, или что-либо наживное, поправимое.

Но у мужика редок рубль и дорого ему достается. С отнятым кровным рублем у него уходят нередко счастье и будущность семьи, начинается вечное рабство, вечная зависимость перед мироедами и богачами. Раз разбитое хозяйство умирает, - и батрак осужден на всю жизнь искать, как благодеяния, работы у сильных и лобзать руку, дающую ему грош за труд, доставляющий другому выгоды на сотни



рублей, лобзать, как руку благодетеля, и плакать, и просить нового благодеяния, нового кабального труда за крохи хлеба и жалкие лохмотья.

Среди обстоятельств, подобных настоящему, мутился разум целых народов. Как не спутаться забитому уму нашего крестьянина?!

Вы лучше меня знаете это и не забудьте дать ему место при постановке приговора.

Время вам ставить его.

Верю я, глубоко верю, что сегодняшний день в летописях русского правосудия не будет днем, за который покраснеет общество, разбитое в своей надежде на господство правды в русском суде. Верю я, что вы скажете сегодня: "Молчи, закон, настало время благодати!". Верю я, что те экономические лишения, те нравственные мучения, в которых протекли долгие годы жизни люторических крестьян, сегодня достигли своего предела... Они уйдут отсюда с приобретенным убеждением, что правда есть и действует.

Вы не вынесете жестокого решения, вы не увлечетесь мнением:

Не беда, что потерпит мужик:

Знать, ведущее нас Провидение

Указало; да он и привык...

Ведь сквозь зримый миру смех незримые миру слезы водили рукой поэта-сатирика, когда он пел эту скорбную песню.

Нет, вы не осудите их. Мученики терпения, страстотерпцы труда беспросветного найдут себе защиту под сенью суда и закона.

Вы пощадите их.

Но если слово защиты вас не трогает, если я, сытый, давно сытый человек, не умею понять и выразить муки голодного и отчаянного бесправия, пусть они сами говорят за себя и представляют перед вами.

О, судьи, их тупые глаза умеют плакать и горько плакать; их загорелые груди вмещают в себе страдальческие сердца; их несвязные речи хотят, но не умеют ясно выражать своих просьб о правде, о милости.

Люди они, человеки!...

Судите же по-человечески!...

Дело Максименко¹

¹ Обстоятельства дела изложены перед речью Н. И. Холева (см. стр. 821-- 826). Ф. Н. Плевако выступал в Таганрогском окружном суде, заседания которого проходили в Ростове и/Д 15--20 февраля 1890 г.

Завтра к этому часу вы, вероятно, дадите нам ваше мнение о свойстве настоящего дела и об отношении к нему предстоящих подсудимых.

Томительный вопрос: какое впечатление производит на судей совокупность проверенного здесь материала и кто вероятный виновник содеянного зла -- получит удовлетворение.

Подсудимые -- и та, которую я защищаю, и тот, за кого скажет слово третий защитник, -- отрицают свою вину. Следовательно, нам нужно сосредоточиться на изучении улики против них.



Но чтобы правильной разобраться и безошибочнее решить дело, я советую вам разделить ваше внимание поровну между подсудимыми, обдумывая доказательства виновности отдельно для каждого подсудимого так, как будто судьба другого сегодня не предстоит вашему вниманию. Этот прием спасет вас от вредной для дела и особенно вредной для подсудимых перепутанности улики. Известна человеческая слабость к быстрым обобщениям: мы охотно спешим впечатление, полученное от одного ряда явлений, перенести на соседние, сходные с ними. Мы незаметно объединяем в одно целое группу независимых предметов и думаем о них, как об одном.

То же повторяется и при решении дел уголовных. Совершилось преступление. Подозреваются несколько лиц. Мы начинаем смотреть на всех подсудимых, привлеченных по одному делу на всю скамью, как на одного человека. Преступление вызывает в нас негодование против всех. Улики, обрисовывающие одного подсудимого, мы переносим на остальных. Он сделал то-то, а она сделала то-то, откуда заключается, что они оба сделали и то и другое вместе.

В примерах нет недостатка. Вы слышали здесь показания, которыми один из подсудимых изоблился в возведении клеветы на врача Португалова, а другая -- в упреке, сделанном ею соседке Дмитриевой в неосторожном угощении больного мужа крепким чаем, что было на самом деле. И вот в речи обвинителя эти отдельные улики объединяются в двойную улику: оказывается, что Максименко и Резников клеветали на доктора, Максименко и Резников упрекали Дмитриеву.

Испросив у вас отдельного внимания каждому подсудимому, я обращаюсь к делу. При этом, памятуя, что мы призваны содействовать, а не мешать вашему правосудию, я откину из моей речи все то, что, имея полную возможность принять вид серьезного Довода за подсудимую, на самом деле не представляется доводом перед, моим внутренним зрением. Я буду вести не придуманную, а продуманную речь, не забывая о том, что во многом, быть может, разойдусь с моими товарищами по защите.

Итак, во-первых, я не стану отрицать того, что насильственная смерть мне представляется фактом. Те неточности химической экспертизы, на которые указал вам мой молодой сотрудник, та шаткость вторичного медицинского мнения, констатировавшего смерть Максименко от отравы, которое опиралось на выводы химического анализа и падало вместе с неверностью последнего, -- все; это, может быть, и сильно, но я признаюсь, что мне лично не справиться с этими техническими выводами людей знания, что, сверх того, окончательный вывод экспертизы и по ослаблении его критикой остается довольно сильным, по крайней мере, в моих глазах, так что я думаю обойти его без возражений, успокаиваясь тем, что, в случае, если улики против того или другого подсудимого недостаточны, то и с признанием преступности у обвинителя не будет в запасе данных, связывающих преступление с намеченной им; личностью.

Но прежде чем подойти к детальным уликам, собранным против, Александры Максименко, я нуждаюсь в указании на одно положение, от верности или неверности которого зависит достоинство моих заключений по делу, и затем должен буду высказываться по вопросу о пределах исследования жизни подсудимой ввиду далеко заходящих вдаль биографических изысканий обвинителя, рисующего нам жизнь подсудимой чуть не с самого детства.

Положение первое таково: здесь давали преобладающее место показаниям врача Португалова и полицейского чиновника Дмитриева, а равно и жены последнего. Со своей стороны, более меня принимавшие участие в судебном следствии товарищи и некоторые свидетели говорили о возбужденном, по словам подсудимого Резникова, деле о вымогательстве Португаловым 300 рублей за выдачу свидетельства о смерти покойного Максименко. Указано было и на то, что



Дмитриев и его жена -- те лица, к которым относился упрек Александры Максименко, слишком страстно относились к делу и высказывали подозрительные предположения против подсудимой, не подтвержденные ссылкой на тех лиц, на которых они ссылались. Я, подобно обвинителю, не доверяю клевете на Португалова и признаю, что ложь доказана бесспорно. Далее, я допускаю, что Максименко упрекала Дмитриевых в угощении больного мужа чаем.

Но что же отсюда следует? А то, что Португалов был глубоко оскорблен этой юющей в самую сердцевину человеческого достоинства инсинуацией. В меньшей степени, но тоже недовольны были обвинением в неосторожности и Дмитриевы. Обе обиженные стороны, сознавшие полнейшую несостоятельность обвинения против них, естественно, с подозрением отнеслись к авторам выдумки. А когда оказалось, что смерть Максименко была неестественной, то подозрение перешло в предубеждение против клеветников, вероятно, имевших целью этими инсинуациями отводить глаза от виновников преступления. Между тем пущенная о Португалове, во всяком случае не моей подсудимой, клевета -- о чем свидетельствуют все обстоятельства дела -- передаются автором лжи в семью Дубровина. Там рассказу верят и громко передают о поступке Португалова, даже идут, в лице свидетеля Леонтьева, жаловаться полиции на вымогательство врача.

Понятно негодование Португалова на дерзость лжи. В негодовании он уже не анализирует развития клеветы, а объединяет всех, разносящих ее, в одну шайку, вероятно, имеющую Цель клеветать на него, чтобы подорвать веру в его сомнения о причине смерти Максименко и добиться похорон без вскрытия.

Происходит трагикомедия: Португалов, оскорбленный, подозрительно истолковывает все поступки в семье Дубровина, а семья Дубровина с вдовой Максименко, доверяя пущенной клевете, в подозрениях Португалова видят только новые и новые придирки.

В меньшей мере, но та же история повторяется в отношениях к Дмитриевым.

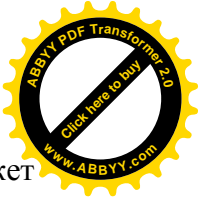
Подозрение, высказанное вдовой покойного, раздражило их. Они недоверчиво относятся к ней; она, не зная истинной причины смерти мужа, их подозрительность объясняет иными мотивами.

Эти причины дали окраску отношениям этих свидетелей к делу. Они озлоблены и поэтому пристрастны; тем более опасно, что их подозрительность искривлена. Но они -- люди правдивые, особенно я это скажу о Португалове.

Поэтому в их показаниях надо различать две стороны. Там, где они, а особенно Португалов, говорят о своих действиях, о своих поступках и действительном их значении, там он правдив, ибо порядочность его гарантирует нас от сочинительства того, что для него явно не существует. Но там, где он говорит о значении чужих поступков, где он характеризует чужую душу и оценивает чужие чувствования, -- а самая опасная часть его показаний и составляет его мнение о недостаточности внимания вдовы к покойному супругу в предсмертные дни, о холодности ее при гробе и т. п. -- там его мнения, как таковые, всего более страдают недостатком беспристрастия. Тут уже нет гарантии в его личном достоинстве, потому что самые достойные люди отдают дань чувству и страсти и под углом их не безопасны от воображения, заменяющего действительность.

И вот моя просьба к вам: верьте Португалову и Дмитриевым, где они свидетельствуют о себе, не верьте им, где они судят и рядят о людях, им неприятных за причиненное ими воображаемое зло.

По вопросу о биографических подробностях относительно подсудимой я, пожалуй, готов признать долю правды в мнении моего сотоварища по защите, -- что необходим предел таких исследований, дабы избежать излишнего влияния этих подробностей на силу настоящих улик; готов согласиться, что не обвинителю, а защите дозволительно далеким прошлым, если оно безупречно, испрашивать



снисхождения к виновному; согласен, что в устах обвинителя этот прием может переродиться в осуждение подсудимого не за обследованное деяние, а за необследованную прошлую жизнь, может быть, и не похожую на ту, какой ее рисуют случайные свидетели.

Но раз дело сделано, раз обвинение старается заглянуть в прошлое подсудимой и вызвало с этой целью несколько свидетелей, то нам уже надобно считаться с совершившимся фактом следственного производства. Одной просьбой о забвении этой страницы дела ничего не сделаешь: она уже прошла перед глазами присяжных. Просьбы о забвении остались бы неисполненными и даже возбуждали бы особое внимание к исключаемым фактам.

Так бесплодна просьба матери, которая, давая дочери своей какой-либо модный роман, предлагает ей не читать некоторых отмеченных красным карандашом страниц: они будут прочитаны, прочитаны ранее других и только сильнее запечатлеются в молодом мозгу.

Нет, я мирюсь с приемом прокурора и, выслушав его обличительную речь о далеком прошлом подсудимой, принимаю вызов, ввожу в мои объяснения апологию ее молодой жизни до встречи с Резниковым и думаю, что обильный материал дела дает нам вывод, совершенно противоположного свойства.

С него-то мы и начнем.

Дяди и родня, как ее, так и ее покойного мужа, здесь сказали нам, что она осталась почти ребенком после отца. Особенно старательного воспитания ей не давали: мать -- женщина, вышедшая из низменных слоев, и не умела, и не желала дать дочери образования. Здесь отметили, что мать притом не свободна от порока неумеренности в вине. Затем, все мы знаем, что после отца у Саши Дубровиной -- все так звали девушку -- осталось хорошее состояние в трети капитала в торговом доме пароходства братьев Дубровиных.

Достигает Саша Дубровина пятнадцати лет. Из девочки начинает формироваться девушка. Просыпаются девичьи грезы, предвестники инстинктов будущей женщины. Засматриваются на нее молодые люди околodka. Стыдливо засматривается и она на них. К матери засылают сватов и свах. Обвинитель отмечает, что в течение года было до тридцати женихов и что с одним было что-то вроде сговора, -- это с каким-то греком, а с другим, судя по письму к ней от него, девушка сама объяснилась в любви, без участия матери. И вот это называют первыми признаками ее нравственной порчи.

Но разве это так? Женихи, в такой массе попытавшиеся просить ее руки, свидетельствуют как раз о противном. Значит, она была желанная невеста для многих и не спешила броситься на шею первому искателю. Сговор, не повлекший, однако, к браку, свидетельствует только о том, что она своей девичьей воли не позволила отдать без спросу, обвинение не располагает никаким указанием хотя бы от самого недостоверного свидетеля, что жених отказался от невесты по причине ее сомнительного поведения. Письмо моряка, памятное вам по вычурному титулу "многоуважаемая, позволившая назвать себя моей невестой", писанное в Ростов к шестнадцатилетней девушке, свидетельствует только о том, что она честью дорожила и не легко было вырвать у нее полунамек на готовность вступить в брак, так что искателю ее руки приходится подчеркивать молодой девушке слово, слетевшее с ее языка.

И я вас спрошу: неужели это порок? Неужели это начало тех "злодеяний", каким эпитетом обозвал эти поступки мало продумавший свое слово гражданский истец. Кто из нас, имея в семье молодых девушек -- сестер или дочерей, не знает, что серьезному чувству, которое ведет их к алтарю, предшествуют, как эскизы предшествуют картине, мимолетные вспышки нежности, скоропроходящие печали молодого сердца?...



Нет, господа присяжные, грешно клеймить именем порока светлые грезы юности. Этими грезами наполнена любая начинающаяся девичья жизнь. Ссылаюсь на ваши собственные семьи: разве у вас нет того же? Разве вы отвернетесь за это от ваших детей, а не ограничитесь добрым советом, дабы не было ошибки в выборе?

Перехожу к истории брака с покойным мужем подсудимой. Этот момент важнее и дает место для размышлений.

Обвинителем выставлено положение, что девушка стала принадлежать мужу еще до брака. Но, не довольствуясь этим, обвинение прибавляет, что девушка сама бросилась на своего избранника и, так сказать, женила его на себе.

Проверим доказательства и построенные на них выводы.

Встречу подсудимой со своим мужем рисуют нам главным образом два свидетеля: брат и сестра покойного Максименко. Обвинитель останавливается преимущественно на показании сестры, как более мрачном. Брата-свидетеля, ценимого обвинителем весьма высоко, как и нами, найдено нужным в данном вопросе обойти.

Вот что говорит сестра: я приехала к брату, служившему у Дубровиных в конторе. Стала рыться в его грязном белье и нашла подозрительные пятна крови. Спросила брата, и он мне объяснил, что дочь хозяйки, вопреки его воле, стала с ним в такие отношения, которые прикрываются браком. Тон показания не в пользу девушки: она сама взяла себе брата свидетельницы, не дорожа своей девичьей честью. Таков рассказ летописца в юбке. Прокурор верит ему и отмечает этот факт как доказательство развращенности подсудимой.

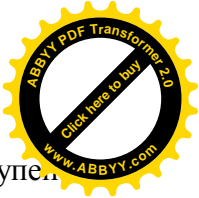
Летописец -- брат покойного говорит другое.

Прежде всего, он, как здесь установлено без возражений, был покойному вместо отца. Он воспитал его и содержал его до тех пор, пока тот не встал на свои ноги. Брат покойного, по свидетельству и по объяснению гражданского истца, действующего от имени матери покойного, человек совершенно порядочный. Он содержал всю семью. Истица свидетельствует, в лице своего поверенного, что он прекращал содержание матери только на время брачной жизни покойного Максименко, на которого, как на более состоятельного, была перенесена повинность содержания матери, безропотно исполнявшаяся дотоле братом-свидетелем. Со смертью покойного, Антонин Максименко опять заботится о матери.

Так вот этот свидетель -- брат и воспитатель покойного говорит нечто другое: "Брат был со мной откровенен, как с отцом. Это была натура честная и прямая. Алчности в нем не было. Вступая в брак с Дубровиной, он тяготился неравностью состояния, -- его, простого рабочего, и ее, наследницы богатого отца- Но брат мой говорил мне, что они друг друга любят, говорил еще нечто, что заставило сказать мне ему: какой тут может быть вопрос. Твой нравственный долг -- жениться на ней".

Согласитесь со мной, господа присяжные, что это не то, что говорила сестра. А верить ему приходится больше. Он здесь произвел впечатление лучшего свойства, чем все другие, свидетели-родичи. Он имел право на откровенность брата, и брат в откровенности ему не отказывал. Неестественно, чтобы тайну отношений брат передал сестре с таким цинизмом, если даже что-либо подобное было.

Но главное: надо совершенно не знать человека и девушки, чтобы доверять показанию Елизаветы Максименко. И развратные девушки рождаются чистыми созданиями, и у них до поры потери чести богатый запас того целомудрия, которое то стыдом, то страхом, то отвращением спасает их от бездны падения. Потеря стыда -- состояние духа, приходящее много спустя после утраты целомудрия. В минуту же гибели чести девушка -- всегда жертва, а не хищница. В минуту падения не она, а тот, кто убаюкивает ее страх, кто заговаривает ее стыд, кто



искусными стонами возбуждает ее жалость к себе самой, -- не она, а он преступел. И это не только по отношению к девушкам порядочного круга, нет, это, кажется, общее правило. Куда бы мы ни спустились, хотя бы в вертеп разврата, и там сумели бы вырвать горькое признание, исповедь падения у несчастной жертвы греха, -- мы услышали бы и в сотый раз убедились бы, что у порога гибели девушки стоит не ее, а чужая порочная и развращенная воля.

И сближение Максименко со своей будущей женой не нарушало господствующего права. Полюбил он, полюбила она. Искренность обоюдных чувств была вне сомнения. Брат и шафера -- друзья жениха, даже сестра его, -- все здесь это удостоверили. Жених не дождался брачных дней, и, может быть, боясь за отказ ему, бедняку, со стороны матери, подкараулил минутой, когда было легко усыпить страхи девушки, и овладел ею.

Она отдалась любимому человеку. А любимый человек оказался лучше тех, кому бы только победить да насмеяться над легковерной дурочкой. Он пал и уронил, но он умел встать и поднять свою жертву.

Они вступили в брак. Нелюб он был теще, холодно встретили весть о браке богатые родные. Были помехи, так что пришлось играть свадьбу в другом городе и скромно отпраздновать ее в кругу друзей.

Все, кто был на свадьбе, все здесь показали, что жених и невеста любовно шли друг к другу, что ни она, ни он не казались идущими к венцу насильно, нехотя, по необходимости.

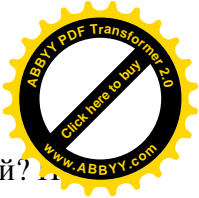
За вступлением в брак потянулась успокоенная, пришедшая в норму общая жизнь молодых супругов. Эту жизнь обвинение и гражданский истец также не оставили в покое, но также осветили ее односторонне, также явно несогласно с достовернейшими обстоятельствами дела.

Предполагалось в обвинительном акте, что супруги жили несогласно и что Максименко горько жаловался на свою долю. Но проверка этого предположения опровергла его. Вы здесь слышали, что свидетели, посещавшие дом молодой четы, никогда не встречали и тени несогласия между ними. Они жили, как все хорошие люди живут. "Дай бог нам так жить" -- вот какие отзывы даны здесь. Обвинителю пришлось опровергнуть это дружное единогласие в показаниях замечанием, что свидетели судят по обхождению супругов при чужих. Но он на чем строит свое противоположное мнение? За нас -- опровергаемые, но не опровергнутые данные, за него -- ничего. Мы оказываемся сильнее.

Но за нас, кроме свидетелей, говорят и документы. А мало этого, то за нас свидетельствует и самый компетентный свидетель -- сам покойный. У нас есть две серии писем -- от жены к мужу и наоборот. Первые подвергались сомнению со стороны обвинения во время следствия, но во время прений эта точка зрения была оставлена.

Вы помните эти письма молодой женщины к своему мужу, так может писать только любящая и привязанная жена к дорогому человеку. Легко и свободно, перебегая от предмета к предмету, болтает жена мужу о всех интересах дома. Серьезное денежное поручение, об исполнении которого жена отчитывается мужу, сменяется сообщением о скучающей собачонке. Поклоны чужих прерываются собственными ласками и зовом к свиданию. Нелюбящая и тяготящаяся постылым браком жена так не могла бы писать.

Но обвинение и тут ищет опоры для мрачных предположений о нравственных недостатках подсудимой. Оно указывало на следствии на одну вам памятную фразу, повторенную в нескольких письмах. Эта фраза почти нецензурна. Мы все ее поняли, понял и обвинитель, но почему-то пожелал от подсудимой объяснения фразы. Она не дала этого объяснения, найдя спасение своей естественной стыдливости в законе молчания.



О чем свидетельствует эта вольность языка, допущенная молодой женщиной? .. о разврате и распущенности. Ведь она пишет не любовнику, не "альфонсу", не мимолетному знакомому. Она пишет мужу. Неужели же и с мужем нельзя позволить себе чересчур игривой фразы, нельзя и с ним увлечься чувственными ласками? Нет и нет.

Ни природа, ни закон не обрекают женщину на аскетизм. Целомудрие запрещает женщине расточать эти ласки перед чужим, требует скромности слова с чужими, но и увлечение и вольность в тайнике, доступном только супругам, не осуждается. Ведь письма эти не предназначались для света, они были такой же тайной, так же бежали от чужого уха и глаза, как бегут от них забавы и нежности супружеского ложа.

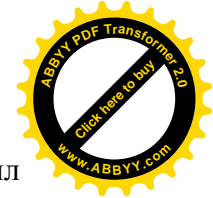
Живя дружно и привязываясь друг к другу, молодые не делили своих средств на мое и твое. Родные дяди показали нам, что в этом отношении не было никаких перереканий между супругами, которые бы затрудняли счета с ними в конторе. Муж управлял домом, имея доверенность жены, ни разу не уничтоженную женой, что имело бы место, если бы супруги ссорились, особенно на почве материальных вопросов. Брат покойного, Антонин, бывший попечителем подсудимой, свидетельствует то же самое. Мало того, он нам дал показание, восполняющее собой факт, удостоверенный представленным мной договором, по которому жена все свое состояние в торговом доме бесповоротно уступила мужу.

Вы знаете и помните это обстоятельство. Молодая Максименко почувствовала себя матерью. Первые роды страшны. Мысль о смерти носилась перед ней. Но она еще молода и не может распорядиться своим состоянием на случай смерти, в форме завещания. Если ее не будет, то имущество перейдет к матери и дядьям. Если бы она не любила мужа, то ей это было бы все равно; да и не думала бы она о других, когда страх за свой тяжелый, для многих женщин смертельный, час овладевал всем существом роженицы. Но она любила мужа, и мысль о нем стояла рядом с мыслями о себе. И вот она, не принуждаемая, сама, думая о муже, передает ему, не на случай смерти, а бесповоротно, свое право в торговле в его собственность.

Что это делается не под влиянием других, -- это сказывается в ее последующем поведении: она не выдает этой сделки никому, знают про нее только муж, жена да его брат. Что это не была сделка принуждения, а акт сердечности, это видно из следующих отношений: получив эту сделку, покойный ни единым поступком не переменил своих отношений к жене и ее состоянию. Никто ни единым словом не указал на какую-либо меру, принятую мужем, чтобы лишить жену средств к жизни; на бескорыстие жены муж вторил взаимным бескорыстием. Слова Антонина Максименко о бескорыстии брата и о сердечных мотивах, побудивших супругов совершить нотариальное условие об уступке женой мужу своего состояния, подтверждаются силой самих событий после совершения условия.

Чувствуя, что на этом пункте обвинение не устоит, прокурор и гражданский истец высказывают соображение такого рода: нотариальное условие было скрыто после смерти Максименко -- значит жена не желала вовсе добровольно расстаться со своим добром.

Но брат покойного был попечителем подсудимой, когда она подписывала условие, значит, существование условия не могло быть скрыто. Условие это -- не договор о займе, с потерей которого взыскатель лишается средств доказать долг, условие это -- передача имущества в собственность, а подобные условия, раз они совершены, не теряют силы с утратой акта. Потеря купчей не ведет к потере права собственности, и копия, выданная нотариусом, пополняет пробел утраты.



Но я уклонился в сторону. Вернемся еще к периоду брачной жизни. Я забыл напомнить вам о факте, победоносно доказывающем, что для подсудимой ее муж был самым дорогим человеком.

Мать ее, женщина, как мы уже знаем, грубоватая и неразвитая, была сварлива. Те жалобы, которые иногда слышал от покойного его брат, касались -- помните его свидетельство -- отношения к теще. Она любила попрекнуть зятя куском хлеба.

И вот, выведенный из терпения, Максименко уходит в гостиницу из дому.

Что же жена? Остается с матерью, отделившись от бедняка-мужа? Нет, она уходит к нему в гостиницу делить с ним его судьбу. Это горячее, открытое предпочтение мужа матери смирило последнюю, и она сама пошла просить зятя вернуться в дом.

Но у обвинителя есть еще один факт, которому придается выдающееся значение в оценке нравственной стороны подсудимой. Выдвинуто показание Левитского, первого набросившего на подсудимую черную тень. Левитский показывал здесь, что подсудимая обманывала мужа и вела на его глазах грязную интригу с полицейским офицером Панфиловым.

Свидетель этот необыкновенно счастлив в деле накопления опорочивающих подсудимую фактов. Знакомит, видите ли вы, Панфилова с Максименко он сам, желая добыть первому куму, крестную мать для имеющего родиться у Панфилова ребенка. Максименко крестит. Панфилов делается другом дома и, не замеченный пока еще никем в дурных намерениях по отношению к своей куме, в один из первых визитов, когда был дома и Максименко, в присутствии мужа и свидетеля позволил себе выходку крайне неприличную, -- поднял ногой подол платья подсудимой, но поднял так, что все это было видно свидетелю и ничего не видно мужу, так, что тот ничего и не заметил.

Не замечает никто ничего особенного в отношениях Панфилова, а стоило раз свидетелю отворить дверь в свою квартиру, и он опять натывается на соблазнительную сцену: подсудимая в чужом доме, в доме свидетеля, сидит с обнаженной грудью, а рядом с ней злополучный любовник Панфилов.

Вслед за этим тот же Панфилов приходит к свидетелю и без всякой надобности предъявляет ему золотые кольца, в которых свидетель узнает кольца подсудимой, очевидно, подаренные ею любовнику.

Никто не сказал здесь, чтобы покойный Максименко унижался до нанесения побоев жене своей. Брат Антонин не допускает этого. Он никогда от брата не слышал жалоб на неверность жены. Левитскому везет и в этом отношении: ему расточает жалобы покойный на жену, при нем идет потасовка -- муж учит жену уму-разуму.

Правда, не все то, что рассказывал здесь Левитский, рассказано им и на предварительном следствии. Но никто, кроме него, не давал такого оригинального объяснения причин противоречия. Обыкновенно свидетель или Забыл, что говорено прежде, если прежде, по напоминании, ему кажется вероятнее позднего показания; или свидетель настаивает на позднем показании, утверждая, что следователь его не понял, и он подписал неверно воспроизведенное показание. Но у Левитского -- все особенное; он писал показание собственноручно, и, видите ли, оно, по его словам, оттого и неверно, что он сам писал его.

Приняв во внимание, что он -- свояк потерпевшему, а главное, что он уже очень счастлив в умении появляться на место свидетельствуемых событий, я не могу его признать столь же достоверным, сколь он счастлив. Уж эти счастливые свидетели! Отворят двери, -- видят сцену неверности жены; уронят перчатку и нагнутся поднять ее -- и в то же время в щелку замка заметят повод к разводу со стороны мужа. В консistorских производствах эти счастливицы давно известны и



составляют большое место бракоразводного процесса. Не думаю, чтобы они упрочились на суде состязательном.

Устранив это показание, мы о всей панфиловской истории имеем от Антонина Максименко только одно, конечно, верное сведение. Брат ему ничего подобного сказанному Левитским не передавал, а жаловался на Панфилова, что он ведет себя неприлично (Панфилов пил), и спрашивал Антонина, может ли он выгнать его из дому, если не хочет принимать.

Итак, до 1888 года, вопреки мнению обвинения, жизнь супругов Максименко не только не хуже жизни обычного, средней руки и среднего счастья семейства, но дает нам достаточный запас данных утверждать, что взаимная привязанность у них все крепла, что не было никаких причин для размолвки, что не было ни резких уклонений от супружеского долга у жены, не было никаких черт в характере мужа, обещавших в будущем строгого деспотичного домовладыку.

А вы забыли, скажут мне, что в одном из писем подсудимой, вами здесь принято как доказательство, есть указание на то, что супруг стеснял жену, не позволяя ей распорядиться покупкой башмаков и платья, так что она выпрашивает у него позволение купить себе то и другое, указывая, что иначе ей не в чем ходить.

Такое указание в письме есть. Оно писано перед праздником Пасхи, когда муж замешкался приездом домой. В связи с теми показаниями, какие давали здесь родные подсудимой о том, что она ни в чем недостатка не терпела, что касса торгового дома не была замкнута для вдовы и ее дочери, что Максименко не запрещал выдавать доходы своей жене и не заявлял на них своего права, а равно в связи с показаниями родни покойного, что он не был ни тираном, ни алчным, а скорее тяготился тещей и был уступчив, я считаю себя вправе истолковать это место в письме согласно с общим тоном жизни супругов.

Жена ждет мужа к празднику, и муж говорит ей, чтобы подождала его покупать праздничные обновы, -- ведь так приятно вместе встречать праздник и готовиться к нему вместе, начиная с покупки обнов. И вот жена ждет. Но праздник близко, а обнов еще нет. Боится молодая женщина остаться без новенького платья и, быть может, без новых дорогих башмаков, которые так красят маленькую ножку, и просит мужа либо приехать скорее, либо позволить ей уж самой заняться своими нарядами. Всякое иное толкование письма шло бы вразрез с прочими данными процесса. Тиранья мужа, доходившая до того, что его богатая жена сидит разутая и раздетая, требовала бы проявления наружу его характера в более существенных фактах их экономических отношений. А мы уже знаем от свидетелей, даже вызванных обвинением, совсем другое. Остается этих свидетелей вычеркнуть. Но тогда что же у обвинения останется?

Теперь мы переходим ближе к трагическому месту процесса. Появляется Резников. Краски сгущаются. Факты делаются уже чрезвычайно важными, потому что их приходится относить к призванным дать ответ обвинению подсудимым. Противоположные объяснения здесь уже имеют другой характер: ослабляя подозрение против одного, они усиливают его против другого. Но если где-либо мои соображения, высказанные в интересах подсудимой, будут вредны для другого и, вопреки моему желанию, будут неверны, заступник, за второго подсудимого, да и вы сами исправите их.

Смею надеяться, однако, что, вступив в область самых опасных фактов и улик, я успел доказать вам, что до этого момента прошедшее Александры Максименко не навлекает на себя подозрения, что в этом прошлом нет поводов к ненависти, к страданию, к страстному желанию, хотя бы ценой преступления; выйти на волю, что прошлое рисует нам ее мужа таким человеком, около которого живет легко, по крайней мере сносно.



Отсюда: обвинение обязано в этом периоде, к которому мы подходим, найти мотивы к убийству Максименко; эти мотивы, если оно хочет обвинять обоих, распределить между ними; здесь найти улики, подкрепляющие мотивы, и затем доказать; что мотивы эти общие, что цели -- одни и что им соответствуют общие и согласные действия подсудимых.

Мне же представляется, что этих условий основательного, требуемого законом обвинения в деле нет.

Появляется в доме молодой четы Резников. Вы его сами видите. Это человек, которому нет еще и двадцати лет, шустрый и юркий. По-видимому, в нем течет та кровь, с которой у нас сложилось предположение о ловкости, услужливости, умении сделаться необходимым в доме, где ему отворили двери. Введен он в дом самым покойным/Благодарный по природе, чем-то обязанный в годы нужды отцу Резникова, Николай Максименко отплатил отцу тем, что пристроил сына в контору своего пароходства, а затем познакомил его и со своей женой. Через сына Резникова с подсудимой подружилась вся семья, которая стала бывать у Максименко. В минуту смерти жертвы рассматриваемого преступления в доме его, кроме родни, мы видим именно Резниковых.

Резников для дома средней руки -- интересный знакомый. Он занимателен, он заметно культурнее той среды, какая обыкновенно бывала у Дубровиных. Это не образованный человек, не развитой в лучшем смысле слова, но он вкусил по крайней мере, внешних благ цивилизации. Я называю этих людей людьми уличной культуры, то есть нахватавшимися тех сведений и усвоившими те приемы и условия культуры, которые, как общеупотребительные слова иностранного модного языка, чаще других раздаваясь в разговоре, делаются достоянием и тех, кто не знает вовсе этого языка.

Он, повторяю, принят в дом, он сумел понравиться и жене и даже ее неживчивой матери...

Как далеко зашли его успехи относительно подсудимой, следствие не дало неопровержимых доказательств ни в пользу предположений прокурора, ни в пользу основательного опровержения его мнения.

Предположение, выходящее из показания Португалова о болезни Резникова и одновременной болезни подсудимой Максименко, набрасывает тень на последнюю; но оно находит себе противопоказание в истории с бочонком, когда молодая женщина могла надорваться и получить здесь названную болезнь. Правда, эту болезнь Португалов назвал заразной; но ошибки вообще в диагнозе возможны, а в таких болях, как женские немочи известного сорта, ошибки далеко не редкость.

Но я готов допустить и здесь уступку прокурору. Я готов думать, что Резников увлек Максименко, увлек до падения. Но тогда, раз увлечение имело место, раз женщина пожертвовала долгом, не стесняясь именем жены, -- тогда удовлетворенная страсть, резких проявлений которой следствие не констатировало, равно как не удостоверило, чтобы покерный муж серьезно тревожился этим увлечением и противопоставлял ему сильные препятствия, -- тогда, говорю, не раздраженная препятствиями страсть не давала, сама по себе, достаточного повода для такой развязки, какую предполагает обвинение.

В руках обвинения есть довод, направленный против Резникова. Для него интересно было быть возлюбленным богатой хозяйки. Но положение слуги-друга опасно. Узнает и прогонит муж, да и сама хозяйка, охладев, не задумается расстаться с предметом своей слабости. Нет, уж если судьба помогла сделаться любовником, то отчего не попытаться упрочить место, сделавшись хозяином своей хозяйки, благо случай дает возможность скрыть следы преступления исходом болезни, начинающей, к несчастью, проходить.



Но этот довод, раз на него обращено внимание, разделяет, а не соединяет подсудимых. Что интересно одному, то прямо не входит в расчеты другого...

Не могу не отметить еще одного обстоятельства,-- что к периоду предполагаемого романа относятся свидетельские показания" письма супругов, доказывающие, что никакой резкой размолвки между ними не было, что жизнь их не была невозможной и что к этому времени. относятся показания врача Португалова о резких отзывах о покойном Максименко со стороны одного Резникова.

Для единства цели, для зарождения одной и той же преступной мысли, для союза двух злобно настроенных волей надо доказать наличие непреодолимых иным путем препятствий на дороге этих двух лиц, надо доказать, что страсть, неудовлетворенная страсть, или обоюдно разделяемая ненависть к покойному одушевляла обоих предполагаемых преступников и объединяла их в одно демоническое лицо, -- но этого-то и не доказано.

Чтобы восполнить это требование, обвинению приходится жертвовать цельностью плана своих соображений, приходится, вместо задуманного характера "развращенной натуры", перепридумать подсудимую в строгую женщину, которая пала, но желает подняться до порядочной, для чего и задумано ею преступление: отравление первого мужа, чтобы открыть дорогу для второго.

Второе препятствие на обвинительном пути -- условие, по которому жена уступила все свои права в торговом деле мужу, условие, в силу которого не перестает верить наследник покойного, Антонин Максименко, здесь отбрасывается таким образом: оно -- спорно, и, кроме того, его похитили в момент смерти, рассчитывая на то, что таким образом все права покойного утратились.

Но, как я уже говорил, условие о передаче прав собственности на вещь, раз оно совершено гласно, время, место и содержание сделки известны заинтересованным лицам, не уничтожается с потерей акта: это не долговой документ, где с потерей его уничтожается доказательство сделки и на "ей основанного права.

Это условие отрезало дорогу ей от ее имущества. И если бы ее тяготило супружество и тяготила, между прочим, и материальная зависимость от мужа, то она попыталась бы какими-нибудь средствами, лаской и просьбами во время болезни уговорить мужа быть таким же заботливым о ней, как была заботлива она о нем, когда боялась смерти от родов. Но, мы знаем, что никакой подобной просьбы не было, ибо, делая все, что от нее зависит, для здоровья мужа, она не ожидала не только намеченной, но даже и естественной смерти от болезни.

В ином положении к этой улике стоит Резников. Условие о передаче прав было заключено женой с мужем без особой огласки: ни мать, ни дядя не знали о ней -- его не оглашали. Знали участники да то лицо, которому перейдет наследство после смерти покойного,-- его брат. Значит, жена укрыть его не могла. Но существование его не известно было Резникову. Будь жена с ним в союзе преступления, совершай они вместе задуманное зло, расчетливые инстинкты Резникова оставили бы след в мерах к обеспечению утраченного имущества.

Отметив различие целей подсудимых до наступления злополучного дня смерти и начала последней болезни покойного, я перехожу к последнему моменту дела.

Максименко заболевает тифом в городе Калаче, где с ним его жена. Она там уже несколько месяцев и ни по ком не скучает, никуда из Калача не едет. В Калач она уехала вскоре после мужа, как это, кажется, бесповоротно установлено здесь, вопреки неясным показаниям сторожа и Дмитриевой, разошедшихся с прислугой и родней, которым эти события домашней жизни лучше известны.

Если бы жена тяготилась мужем, если бы смерть была желанной мечтой ее, то к чему было ей тревожиться о состоянии его здоровья и везти его в Ростов, где



медицинский персонал надежен и многочислен и где каждая минута жизни больного будет проходить на глазах родни и его и ее?

Но она, едва заболел муж, как и следует жене, посылает за врачом в ближайший город Царицын, где медики опытнее медиков Калача, по совету врачуному везет больного в Ростов, везет, не боясь быть с заразным больным в одной каюте, спеша с ним, чтобы скорей воспользоваться надежной медицинской помощью, не на своих тихоходах, а на первом пассажирском пароходе.

В Ростове она немедленно посылает за Португаловым и по совету близких проверяет его лечение консультацией врача Лешкевича.

В то время, как раздраженный Португалов, бросая взор назад, но взор уже отуманенный обидой, осуждает ее холодность к больному и безучастность, врач Лешкевич, спокойный наблюдатель происходившего, говорит, что ничего бросающегося в глаза не было, и жена вела себя, как жена. А родные и посетители больного говорят, что она ухаживала за ним, как и следует.

Я допускаю, что и Португалов имел данные к своему слову. Но он забывает, что больной был болен тифом, болезнью заразной по общему мнению. Отчего же не допустить, что боязнь иногда заставляла жену отходить от постели больного, чтобы подышать свежим воздухом?

Вопрос жены к врачу: "Умрет мой муж?" -- так не пришедший по душе Португалову...-- вопрос естественный. Важен тон, которым он оказан. Простая, по стилистике не обработанная речь простой женщины в вопросе с подобной расстановкой могла включить самую тревожную мысль об исходе болезни.

Итак, предшествующие дню смерти обстоятельства не дают разгадки вопроса, кто убил покойного. Приходится обратиться ко дню преступления и к последующим дням, когда содеянное зло должно было вызывать известное поведение и образ действий виновников.

Во весь день смерти Максименко, когда мать подсудимой, не любившая зятя, своим счастливым "алиби" отклонила от себя подозрение, когда так тщательно доказано членами семьи Резникова, что и он значительную часть дня пробыл дома, хотя не опровергнуто, что, однако, он несколько раз приходил к больному и был с ним во время припадков болезни,-- жена не отходила от больного и не устраивала себе преднамеренных доказательств физической невозможности для нее быть виновницей смерти мужа. Она не отрицает, что носила ему последний стакан, когда, вернувшись от Дмитриевых, он попросил дать себе чаю. Этот стакан для обвинителя -- самая сильная улика.

Но не говоря уже о том, что, по данным экспертизы, количество мышьяка, обнаруженного в трупе, требовало большого количества выпитой жидкости, а, по данным обвинения, жена вынесла едва отпитый стакан сейчас же и назад, не говоря о том, что свидетели, сидевшие за самоваром,-- Марья Васильевна и Большакова, утверждают, что стакан был вынесен совсем не отпитый или чуть отпитый,-- я обращаю ваше внимание на то, что стакан был вынесен и поставлен на тот же стол, перед теми же людьми, причем подсудимая сама вскоре ушла назад к больному, а стакан уже прислугой был вылит в полоскательную чашку.

Я прошу вас сообразить: стала бы отравительница, поднеся отраву мужу, ставить стакан с тем же отравленным чаем на стол, где его могли нечаянно выпить, благо чай был внакладку, и нечаянная отравка выдала бы преступницу?

Спокойствие, с которым жена носила чай и возвратилась, указывает, что в чае или посуде отравы не было или подсудимая не знала о ней, а отравка была дана чьей-либо посторонней рукой, быть может, побывавшей тут же в доме или и в эту минуту тут находившейся.

Вечером больной почувствовал боли. У постели был Резников. Чужих никого. Дмитриевы ничего не знают. Португалов, сочтя больного выздоровевшим, к ним не



придет. Чего бы лучше, если жена знает, что ею дано мужу, а Резников -- ее сообщишь, молчать и не вызывать врача; но жена требует врача, и Резников не может отклонить ее от желания, а должен ехать за Португаловым.

Лекарства прописаны. Но, по замечанию Португалова, касторовое масло не развязано, а микстура едва тронута. Обвинение говорит, что это -- улика против жены, доказательство ее нежелания спасти мужа.

Но ведь если она отравила, а лекарство, как и доктор, ею выписано лишь для отвода подозрения, то что мешало ей давать лекарство -- ведь это было не противоядие, а бесполезное против яда средство?

Доктор Португалов ставит в вину жены, что она в эту ночь легла отдохнуть, когда муж умирал. Обвинение подчеркивает эту же улику.

Но они забывают, что, не зная об отраве, а зная, что утром врач считал больного уже выздоровевшим, жена могла временные, боли считать за преходящий припадок и позволить себе отдохнуть после многодневного ухода за больным, надорвавшего силы.

Наоборот, если бы подсудимая знала, что происходит с мужем, она, полная тревоги за исход своего зла и просто по закону потревоженной совести, не провела бы ночи спокойно.

Максименко скончался. Португалов требует вскрытия. Нежелание жены уродовать труп вообще естественно. Это нежелание стало бы подозрительно, если бы от нее исходили средства обойти вскрытие и приемы, подрывающие веру в достоинство врача, потребежавшего вскрытия. Но мы знаем, что это выдумка не ее сочинительства.

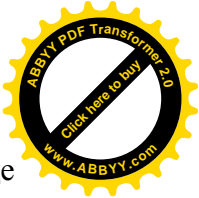
Покойного хоронят. Опять только Португалову и Дмитриевым кажется, что вдова слишком равнодушна к убитому. Но все родные, даже знакомые, этого не говорят, а свидетельствуют противное. Она плакала дома, и ее уводили в комнату; она была подавлена горем у гроба. А когда мы спросили жену одного из ее дядей, Дубровину, о том же, то она нам дала глубоко поучительный пример практической справедливости, который не лишне бы помнить свидетелям Португалову и Дмитриевым: "Вдова стояла у гроба, Как прилично всем в ее положении, а глубока ли или неглубока была ее печаль, свидетельствовать не берусь,-- ведь не в моем это было сердце".

Из послепохоронных данных отмечено здесь, что вдова в, первые же дни уходила ночевать к Резниковым. Но забыли одно, что в доме Резникова в пяти комнатах жило семь человек, и у предполагаемого соучастника по преступлению не было особой комнаты, а подсудимая ночевала с сестрой его. Причина же ухода так проста: в доме Максименко не было ни одного мужчины, одни трусливые старухи. Бояться остаться в доме, где был покойник, так естественно. Обычное явление, что для успокоения оставшихся в живых их уводят к знакомым.

Впрочем, я не отрицаю, что семья Резникова, видимо, ухаживала за вдовой и при жизни, и по смерти мужа. Но это не улика против нее.

Подсудимую видели - вскоре, около шести недель спустя по смерти мужа, в театре, вместе с Резниковыми и с матерью.

Это, конечно, очень скоро. Но не будем требовать от жизни лицемерия. Простая среда и не знает его. Тогда как в высших слоях общества приличие налагает оковы далее внутреннего побуждения, но зато и превращает эти оковы в простые символы скорби, вроде флера и крепа, да платьев установленного цвета, что не мешает слишком скоро и повеселиться, и потанцевать, пожалуй, с знаменитым ограничением: "Танцуем мы, но только с фортепьяно",-- простая жизнь делает иначе: она плачет, пока плачется, и, когда пройдут дни плача, живо входит в колею обычных забот и радостей. Едва ли это неприлично. В простой жизни так мало



действительных радостей, так много невзгод, что прибавлять к последним еще искусственные, право, не следует.

Слухи о сговоре в сороковой день опровергнуты, а знаменитое объяснение Резникова с Антониной Максименко о намерении его вступить в брак с вдовой -- факт много говорящий, но не по адресу подсудимой.

Во время следствия, сидя в остроге, Максименко хлопотала, вопреки мнению следователя, о вторичном вскрытии, которое решительно установило отравление. Если бы она отравила, то стала ли бы она добиваться доказательства против себя. Прокурор признал, что это факт.

Больше в деле нет ничего. Обвинителю приходится иметь счет с этими данными. Мне кажется, что они не дают ему логического и юридического основания привлекать обоих подсудимых вместе.

Обвинение ошиблось в пользовании одним бесспорно умным правилом практической юриспруденции. Оно гласит, что при исследовании какого-либо преступления самое вероятное направление для следователя -- в сторону заинтересованных в преступлении.

Да, это так; но если предполагается несколько заинтересованных, то, прежде чем остановиться на всех, надо выяснить природу преступления: таково ли оно по данной форме совершения, что требует участия нескольких волей и сил. Если у меня в доме дурная прислуга и у меня в одну ночь пропала такая масса вещей, что одному или двоим не успеть сделать этого, я основательно заподозреваю массу служащих; но если у меня пропал со стола бумажник, при доступности кабинета всей прислуге, то необходимость совместного участия в преступлении нескольких лиц не требуется. Только положительные данные могут заставить власть привлечь группу, без них же природа содеянного зла не оправдывает общего подозрения.

В нашем деле та же история. Отравка -- действие, не требующее участия многих сил. Здесь всего нужнее момент и тайна. Поэтому для привлечения двух лиц нужна достаточная причина к подобному предположению.

Но вы знаете, что и здесь, и в обвинительном акте распределение ролей в преступлении не указано, даже названо это распределение безразличным или неважным. И здесь упоминалось, что яд дан либо в чае, либо в сельтерской.

Но если первое, то к чему сюда позвали Резникова? Тогда надо обвинять только мою клиентку, а для Резникова, отсутствовавшего в момент отравления, искать иной формы пособничества.

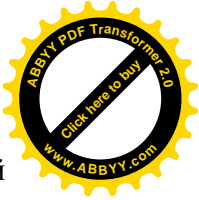
Если в чае яда дать не могла подсудимая, если и вас, как и меня, открытый образ действий ее во время подачи чая мужу и отсутствие цели отделаться от мужа, человека не злого и не тирана, и, наоборот, невыгодность подобного действия, которое разоряет ее, передавая ее состояние в чужие руки, -- если все это и вас располагает не доверять выводам, сделанным из недостаточных данных, то нет места ее содействию, и нет надобности иному лицу в сотоварище, далеко не представляющем из себя умного и надежного сообщника, каковой она была и по летам и по развитию.

Где же тогда виновник и кто он? Неужели же отпустить привлеченных, не указав достойную для правосудия жертву? Не разразятся ли тогда на вас и на нас люди, подрывающие способность вашу служить делу правосудия? Что скажут о вас?

Не дело защиты указывать виновника, -- ее дело отстаивать того, чья вина не доказана или опровергнута.

Правосудие -- вовсе не путь, которым, как жребием, выделяется из общества жертва возмездия за совершившиеся грехи, очищение лежащего на обществе подозрения.

Правосудие есть всестороннее изыскание действительного виновника, как единственного лица, подлежащего заслуженной казни.



Вы являетесь в этой работе лицами, содействующими от общества законной власти, поставленной на страх злодеям, на защиту неповинных. Являясь сюда, вы несете не беспринципную власть народную карать или миловать,-- страшно было бы жить там, где суды по произволу убивали бы неповинных и провозглашали бы дозволенность и безнаказанность злодеяний самих в себе.

Только в этом случае были бы правы ваши порицатели.

Но если вы принесли сюда здравое понимание вашего положения, положения людей, исполняющих повинность государству, тогда не опасайтесь ничего, кроме неправды, в вашем приговоре.

Если вы будете требовательны к доказательствам обвинения, если трусливость перед тем, что скажут о вас, не заставит вас унизиться до устранения рассудительности в вашем решении,-- вы только исполните вашу миссию.

Законодателю дороги интересы своих подданных, и чтобы напрасно не погиб человек жертвой ограниченности всякого человеческого дела, он, вручая органам своей воли суд и преследование, требует от них проверки своих взглядов, прежде чем дать им перейти в грозную действительность карающего правосудия.

И вот, в глубоко гуманной заботе о неприкосновенности человеческой личности, прежде чем слово обвинения перейдет в слово осуждения, перед вами представляем мы, представляем не напрасно и не вопреки интересам закона, а во имя его. Если обвинение есть дело высокой государственной важности, то защита есть исполнение божественного требования, предъявленного к человеческим учреждениям.

Но и этим не ограничивается забота законодателя о чистоте и достоинстве судебного приговора.

Чтобы органы власти не впадали в невольные ошибки, тяжело отражающиеся на участи личностей, привлеченных к суду, им предписано проверять их окончательные выводы путем, исключающим ошибки в сторону осуждения невиновного почти до невозможности противного.

На суд призываетесь вы, люди жизни, не заинтересованные в деле иными интересами, кроме интересов общечеловеческой правды, и вас спрашивают о том, производит ли общая сумма судебного материала на вас то же впечатление, какое произвела на органы власти. Если да, то власть успокаивается на том, что ею сделано все и выводы ее суть те же, какие сами напрашиваются на ум всякого честного человека; если нет,-- то власть считает, что сомнение существует, и не решается дать ход карающему приговору.

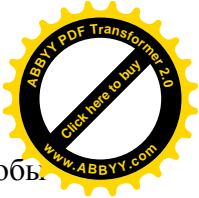
Останьтесь верны этому призванию вашему: не умаляйте силы улики, но и не преувеличивайте их,-- вот о чем я вас прошу. Не преувеличивайте силу человеческих способностей в изыскании разгадки, если таинственные условия дела не поддаются спокойной и ясной оценке, но оставляют сомнения, не устранимые никакими выкладками. Тогда, как бы ни не понравилось ваше решение тем большим умам, которые ищут всякого случая похулить вашу работу, вы скажете нам, что вина подсудимой не доказана.

Если вы спросите меня, убежден ли я в ее невиновности, я не скажу: да, убежден. Я лгать не хочу.

Но я не убежден и в ее виновности. Тайны своей она не поверила, ибо иначе, поверь она нам ее и будь эта тайна ужасна, как бы ни замалчивали мы ее, она прорвалась бы, вопреки нашей воле, если бы мы и подавили в себе основные требования природы и долга.

Я и не говорю о вине или невиновности; я говорю о неизвестности ответа на роковой вопрос дела.

Не наша и не обвинителя это вина. Не все доступно человеческим усилиям.



Но если нет средств успокоиться на каком-либо ответе, успокоиться так, чтобы никогда серьезное и основательное сомнение не тревожило вашей судебной совести, то и по началам закона, и по требованию высшей справедливости вы не должны осуждать привлеченную или обоих, если сказанное равно относится и к нему.

Когда надо выбирать между жизнью и смертью, то все сомнения должны решаться в пользу жизни.

Таково веление закона и такова моя просьба.

* * *

Присяжные вынесли оправдательный вердикт. Однако по протесту прокурора приговор Таганрогского окружного суда был отменен и дело было передано на новое рассмотрение в Харьковский окружной суд. О результатах рассмотрения дела в этом суде см. стр. стр. 821--865. (Речь Н. И. Холева).

Дело рабочих Коншинской фабрики

По данному делу было привлечено к судебной ответственности несколько десятков человек -- рабочих Коншинской фабрики г. Серпухова. Обвиняемым вменялось в вину участие в экономической стачке, призывы к приостановлению работы на соседней (Коштановской) фабрике, участие в разгроме ряда квартир высших фабричных служащих и в нанесении побоев...

Фактически обстоятельства настоящего "дела" таковы. Изнуренные непосильным трудом на фабрике, притеснениями со стороны фабриканта и его служащих, повседневными штрафами и т. д., рабочие Коншинской фабрики организовали стачку и предъявили управляющему требования о сокращении рабочего дня, повышении заработной платы, улучшении условий быта. Эти требования рабочих были отвергнуты, после чего они прекратили работу и организовали массовое шествие к управлению фабрикой. Вызванные из Серпухова отряды конных казаков, как говорится в одном из сообщений в печати по данному делу, "восстановили порядок обычными мерами". Группа арестованных казаками рабочих и была предана суду. Дело рассматривалось в Московской судебной палате 10--12 декабря 1897 г.

* * *

Как старший по возрасту между говорившими в защиту подсудимых товарищами, я осторожнее всех. Моя недлинная речь будет посвящена просьбе о снисходительном отношении к обвиняемым, если вы не разделите доводов, оспаривающих правильность законной оценки предполагаемых событий.

К этому прибавлю и просьбу, вызываемую особенными чертами этого дела.

Время, которое вы отдадите вниманию к моему слову,-- это лучшее употребление его.



Когда на скамье сидят 40 человек, для которых сегодня поставлен роковой вопрос: быть ли и чувствовать себя завтра свободными, окруженными своими близкими, или утро встретит их картинами тюремной жизни, представлениями о безлюдных пустынях и, может быть, о зараженном миазмами воздухе отдаленных стран ссылки, -- лишний потраченный час судейского времени -- ваш долг, даже если бы слово мое оказалось излишним и несодержательным.

Пусть, если не суждено им избавиться от тяжелых кар, они уйдут с сознанием, что здесь их считают не за зараженный гурт, с которым расправляются средствами, рекомендуемыми ветеринарией и санитарами, а за людей, во имя которых здесь собрано это почтенное судилище, в защиту которых здесь велением закона допущено и слушается представительство защиты.

Особенный состав присутствия, установленный законом для данных дел, внушает мне смелую мысль воспользоваться благами, из того истекающими.

Простите, что хочу я внести не мир, а меч в сердце коллегии в минуту, когда она должна будет обсуждать дело. Я хочу говорить о тех условиях, которым должны быть верны представители сословий, когда начинается высказывание мнений по делу.

У вас, господа коронные судьи, масса опыта, -- не к вам слово мое: не напоминать вам, а учиться у вас должны мы, младшие служители правосудия. Вы выработали для себя Строго установленные приемы, точно колеи на широкой дороге, по которой гладко и ровно идет к цели судейское мышление.

Но законодатель ввел в состав ваш общественный элемент, конечно, не для подсчета голосов и внешнего декорума.

Вносится слово живой действительности, не исключенной в отвлеченный термин. Вносится непосредственность бытовых отношений, составляющих самую душу изучаемого дела. И вот я прошу носителей этого непосредственного миропонимания не выезжать колесами в соблазняющие своей прямолинейностью колеи судейского опыта, а всеми силами отстаивать житейское значение фактов дела.

Есть у настоящего дела громадный недочет, -- люди жизни его понимают.

Совершенно деяние незаконное и нетерпимое, -- преступником была толпа.

А судят не толпу, а несколько десятков лиц, замеченных в толпе.

Это тоже своего рода толпа, но уже другая, маленькая: ту образовали массовые инстинкты, эту -- следователи, обвинители.

Заразительность толпы продолжает действовать. Помня, что проступки совершены толпой, мы и здесь мало говорим об отдельных лицах, а все сказуемые, наиболее хлестко вырисовывающие буйство и движения массы, -- приписываем толпе, скопищу, а не отдельным лицам.

А судим отдельных лиц: толпа, как толпа, -- ушла.

Подумайте над этим явлением.

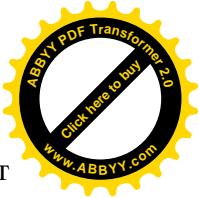
Толпа -- это фактически существующее юридическое лицо. Гражданские законы не дают ей никаких прав, но 14 и 15-й томы делают ей честь, внося ее имя на свои страницы.

В первом -- толпе советуется расходиться по приглашению городских и чинно, держась правой стороны, чтобы не мешать друг другу, идти к своим домам (ст. 113, т. XIV Свода Законов).

Второй -- грозит толпе карами закона.

Толпа -- стихия, ничего общего не имеющая с отдельными лицами, в нее вошедшими.

Толпа -- здание, лица -- кирпичи. Из одних и тех же кирпичей создается и храм богу и тюрьма -- жилище отверженных. Пред первым вы склоняете колена, от второй бежите с ужасом.



Но разрушите тюрьму, и кирпичи, оставшиеся целыми от разрушения, могут пойти на храмоздательство, не отражая отталкивающих черт их прошлого назначения...

Как ни тяжело, но с толпой мыслимо одно правосудие -- воздействие силой, пока она не рассеется. С толпой говорят залпами и любезничают штыком и нагайкой: против стихии нет другого средства.

Толпа сама чудовище. Она не говорит и не плачет, а галдит и мычит. Она страшна, даже когда одушевлена добром. Она задавит, не останавливаясь, идет ли разрушать, или спешит встретить святыню народного почитания.

Так живое страшилище, спасая, внушит страх, когда оно, по-своему нежничая, звуками и движениями сзывает к себе своих детенышей.

Быть в толпе еще не значит быть носителем ее инстинктов. В толпе богомольцев всегда ютятся и карманники. Применяя земные методы обвинения находящихся в толпе, вы впустите в рай вместе с пилигримами воров по профессии.

Толпа заражает, лица, в нее входящие, заражаются. Бить их -- это все равно, что бороться с эпидемией, бичуя больных.

Только рассмотрением улик, выясняющих намерения и поступки отдельных участников толпы, вы выполните требование закона, и кара ваша обрушится на лиц не за бытие в толпе, а за ношение в себе первичных, заразных миазм, превратившихся в эпидемию, по законам, подмеченным изучающими психологию масс.

Здесь вам доказывали, что не было стачки.

А если была?

Тогда выступает вопрос о целях стачки.

Доказано, что часть требований была законна и удовлетворена. Доказывали, что и все требования были законны, в том числе и спорный вопрос о прекращении работ перед праздниками ко времени церковного богослужения.

Я же допускаю, что последнее требование не было законно. Я допускаю, что базарные инстинкты взяли верх над духовными, и уже давно заповедь о посвящении субботы богу (хотя бы со всеобщего бдения) отменена другой, гласящей, что суббота -- время чистки машин на фабриках.

Спорить не будем против законности господствующего инстинкта, но не откажем виноватым в снисхождении за увлечение святыми, но отживающими в сознании хозяев идеалами.

Скажем только, что они жестоко ошибаются, урывая время: у осатаневшего от недельного труда рабочего.

Церковь -- это место подъема духа у забитого жизнью, возрождение нравственных заповедей, самосознания и любви.

Там он слышит, что и он человек, что перед богом несть эллин или иудей, что перед ним царь и раб в равном достоинстве, что церковь не делит людей на ранги и сословия, а знает лишь сокрушенных и смиренных, алчущих и жаждущих правды, труждающихся и озлобленных, всех вкупе помощи божьей требующих.

Входя туда обозленным, труженик выходит освеженным умом и сердцем.

Хотите сделать из народа зверей -- не напоминайте ему про божью правду; хотите видеть работника-человека -- не разлучайте его с великою школой Христовой.

Обвинение вменяет в вину избличенным подсудимым их тоску по церкви. В надежде, что вы в этой тоске найдете основание к снисхождению, я перехожу к другому моменту дела.

Отгоняемые от церкви, они, преданные страсти, разбивают кабаки. И за кабак их влекут к еще строжайшему ответу.

Остановимся.



Буйство было. Но относить это буйство к беспорядкам скопищем, направленным против порядка управления, -- несогласно с требованием закона. Вам это доказывали, и я вычеркнул из моей памяти все, что хотел сказать по этому предмету.

Добавлю одно: закон, ст. 269 Уложения, -- закон новый, но мотивы к нему выяснены весьма подробно. Закон этот целиком взят из нового Уложения.

Вам, вероятно, присланы, как высшему суду местности, для заключений работы комиссии по Уложению. Там, во 2-м томе, под ст. ст. 8₂ 8₃ вы найдете исчерпывающую вопрос аргументацию за наказуемость скопищ особливими карами лишь в исключительных, статьей перечисленных, случаях; там приведено ценное мнение светила французской юриспруденции Ней о границах общепопасного и просто буйного массового беспорядка. Прочитайте эти: страницы.

Вас поразит дерзость буянов, вторгающихся в чужие помещения, и хозяйничанье их за чужим вином.

Да, перед чужою дверью чувство деликатности и врожденное признание святости чужого очага сдерживают всякого человека с непреступно направленной или неиспорченной совестью.

Но в том-то и беда, что здесь для этого чувства не было *места*.

Разбивались кабаки, ютящиеся около той же фабрики, где жили обвиняемые. А что такое кабак в жизни большинства наших фабричных?

Это его клуб, его кабинет. Здесь он оставляет весь свой заработок, остающийся от необходимых домашних затрат. Кабацкая выручка -- это склад, где сложены и трудовые деньги, и здоровье, и свободное время рабочего.

Кабак построен около фабрики, чтобы своим видом, запахом смущать и напоминать о себе рабочему. Кабаку нужны не трезвые и сдержанные: его друзья -- буйные и безвольные гуляки. Для этих последних он не чужой дом, а самое настоящее пребывание, свой угол, свой правовой домицилиум, где ищет рабочего, уклонившегося от работы, надзиратель, где сыщут его и власти, находящие нужным задержать его.

А если так, то не вмените в особый признак злостности буйство пьяного рабочего в кабаке, где все, от чайной чашки до последней капли одуряющего спирта, есть кристаллизация его беспросветного невежества и его непосильного труда.

Судя этих людей, вы должны, по требованию закона и справедливости, принять во внимание нравственные качества их, как ту силу, которая противостоит преступным соблазнам всякого рода.

Посмотрим же, какова эта сила и среди каких условий возникает и растет она.

Вечный визг махового колеса, адский шум машины и пыхтение паровика, передающего свою силу десятку тысяч станков, около которых ютятся как мало значащие винтики рабочие люди...

Титаническая сила -- машина, блестит чистотой и изяществом своих частей, к ней прикованы забота и любовь домовладыки; и только они, легко заменимые в случае порчи, винтики, чужды любви и внимания.

Это ли условие подъема личности.

Выйдем из фабрики...

Кое-где виднеется церковь, одна-две школы, а ближе и дальше -- десятки кабаков и притонов разгула.

Это ли здоровое условие нравственного роста.

Есть кое-где шкаф с книгами, а фабрика окружена десятками подвалов с хмельным, все заботы утоляющим вином.

Это ли классический путь к душевному оздоровлению рабочего, надорванного всеми внутренностями от бесконечно однообразного служения машине.



Пожалеем его. Не будем прилагать к нему не ради правды, а ради соображений неправового свойства мерку, удобную для наших сил.

Нас воспитывают с пеленок в понятии добра, нас блюдут свободные от повседневного труда зоркие очи родителей, к нам приставлены пестуны. Вся наша жизненная дорога, несмотря на запас сил и умение различать вещи, обставлена барьерами за счет нашего достатка, благодаря которым мы и сонные не свалимся в пучину и рассеянные идем автоматически по прямой и торной дороге.

А у них не то.

Обессиленные физическим трудом, с обмершими от бездействия духовными силами, они, тем не менее, сами должны искать путь и находить признаки правого и неправого направления.

Справедливо ли требовать от них той выдержки, какую мы носим в наших грудях...

Чудные часы предстоит пережить вам, господа судьи. Вы можете при свете милосердия и закона избавить от кар неповинного и ослабить узы несчастных, виноватых не столько злой волей, сколько нерадостными условиями своей жизни.

Будьте снисходительны!

Правда, не велика разница для рабочего между неволей по закону и неволей нужды, приковывающей всю его жизнь, все его духовные интересы к станку, бесстрастно трепещущему перед его глазами. Но все же эти люди, куда бы вы ни послали их, -- к станку или в тюрьмы и ссылку, услышав в вашем приговоре голос, осторожный в признании вины и свободный в приложении милости, исполнятся чувства нравственного удовлетворения.

Они увидят, что великое благо страны -- суд равный для всех -- коснулось и их, пасынков природы; что и им, воздая по заслугам, судейская совесть сотворила написанное народу милосердие, внушенное русскому правосудию с высоты первовласти.

И пусть из их груди, чуткой ко всякой правде, им дарованной, дорожащей всякою крупницей внимания со стороны вашей, вырвутся благодарные клики, обращенные к тому, чьим именем творится суд на Руси, клики, какие, правда, по иным побуждениям вырывались из груди гладиаторов Рима: "Vive, Caesar, mozturi te salutant!" {Виват, Цезарь, побежденные тебя приветствуют (*лат.*)}.}

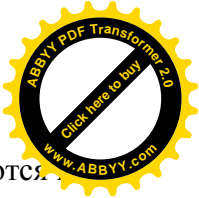
* * *

Все подсудимые были осуждены в соответствии с обвинением, сформулированным в обвинительном заключении.

Дело Дмитриевой и Каструбо-Карицкого

В качестве обвиняемых по настоящему, делу, кроме Дмитриевой и Карицкого, были привлечены врачи П. В. Сапожков и А. Ф. Дюзинг, а также Е. Ф. Кассель.

Дмитриева и Каструбо-Карицкий обвинялись в краже процентных бумаг и в незаконном проведении изгнания плода (аборт). Врачи Сапожков и Дюзинг -- в оказании содействия и помощи при изгнании плода. Е. Ф. Кассель -- в недонесении, укрывательстве преступления и частично -- в соучастии в преступном изгнании плода.



Обстоятельства настоящего дела весьма подробно излагаются и анализируются в речах защитников, три из которых (из пяти) приводятся. В связи с этим здесь дается лишь краткая справка об общих чертах дела.

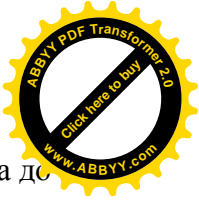
22 июля 1868 г. в полицию было заявлено о хищении разных процентных бумаг на сумму около 39 тысяч рублей у некоего Галича. Бумаги похищены путем вскрытия письменного стола, где они находились, с использованием подделанного ключа. Розыски полиции не дали никаких результатов. Наконец, через три месяца после заявления полиции Галич узнает, что какая-то женщина некоторое время назад продала некоему Морозову два билета внутреннего выигрышного займа. Женщина эта назвалась Буринской. Кроме того, примерно в это же время на станции железной дороги были найдены 12 купонов этого же займа. Владелицей их оказалась та же женщина, но назвавшаяся уже Дмитриевой. Дмитриева была племянницей Галича. Подозрение в краже после этого пало на нее. Дмитриева вначале не признавалась в предъявленном ей обвинении. Затем, под тяжестью улик, вынуждена была признаться. Однако в ходе следствия она изменила показания, отказавшись *от* всего ранее показанного ею, оговорив при этом в преступлении Каструбо-Карицкого, с которым у нее длительное время были интимные отношения. Одновременно с этим она созналась и в том, что Каструбо-Карицким было произведено незаконное, помимо ее желаний, изгнание у нее плода (аборт). Проведенным дальнейшим расследованием была установлена причастность к совершению последнего преступления врачей Сапожкова и Дюзинга. В ходе следствия было также установлено укрывательство этого преступления со стороны Кассель.

По делу были проведены судебно-медицинские экспертизы и допрошено большое количество свидетелей. Ряд свидетельских показаний уличали Дмитриеву в совершении преступления и непричастности к этому делу Каструбо-Карицкого. Другими свидетелями устанавливалась виновность последнего и в проведении изгнания плода и в краже. В ходе предварительного и особенно судебного следствия выявились многочисленные противоречия в показаниях подсудимых. Вследствие резкого расхождения в показаниях, и, естественно, в интересах дела мнения защитников также резко расходились по одним и тем же вопросам. Более того, защитниками в данных речах использован прием защиты одного подсудимого путем обвинения другого и наоборот. Это придавало защитительным речам характер глубокой и острой палемичности, а также оказало влияние на детальнейшее исследование всех обстоятельств по делу, даже не имеющих для его разрешения существенного значения. В данном Сборнике приводятся защитительные речи А. И. Урусова (в защиту Дмитриевой), Ф. Н. Плевако (в защиту Каструбо-Карицкого) и В. Д. Спасовича (в защиту "Дюзинга"). Речи Н. П. Городецкого (в защиту Сапожкова) и Киреевского (в защиту Кассель) в основном воспроизводят тезисы и положения, использованные в защитительных выступлениях Урусова, Плевако и Спасовича и ничего не дают нового по сравнению с тем, что имеется в речах первых трех защитников. Эти речи (Городецкого и Киреевского) в Сборнике не публикуются. Речи Урусова, Плевако и Спасовича печатаются в одном месте одна за другой в целях большего удобства их восприятия.

Дело слушалась Рязанским окружным судом 18--27 января 1871 г.

Речь Ф. Н. Плевако в защиту Каструбо-Карицкого

Вчера вы слушали две речи, речь обвинителя и защитника Дмитриевой. По свойству своему последняя речь была также обвинительной против Карицкого.



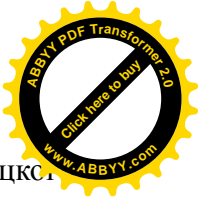
Когда они кончили свое слово и за поздним часом моя очередь была отложена до другого дня, признаюсь, не без страха проводил я вас в вашу совещательную комнату, не без боязни за подсудимого, вверившего мне свою защиту, оставил я вас под впечатлением обвинительных доводов, которые так щедро сыпались на голову Карицкого. Но за мной очередь, мне дали слово... И я с надеждой на свои силы приступаю к своей обязанности. Я верю, что вы не позволите укорениться в своей мысли убеждению, что после слышанного вами вчера нет надобности в дальнейшем разъяснении дела и нет возможности иными доводами, указанием иных обстоятельств, забытых или обойденных моими противниками, поколебать цену их слов, подорвать кажущуюся основательность их соображений.

Обвинитель и защитник Дмитриевой, каждый по-своему, потрудились над обвинением Карицкого. Если прокурор подробно излагал в ряду с прочим улики против Карицкого, то защитник Дмитриевой исключительно собирал данные против него. При этом защитник Дмитриевой не мог не внести страстности в свои доводы. Прокурор имел в виду одну цель: разъяснить дело -- виноват или не виноват Карицкий и во имя обвинения, по свойству своей обязанности, односторонне группировал факты и выводы. Защитник Дмитриевой обвинял Карицкого и этим путем оправдывал Дмитриеву. У подсудимой, которую он защищал, с вопросом о виновности Карицкого связывался вопрос жизни и смерти: переносил петлю на его голову, она этим снимала ее с себя. Тут нельзя ожидать беспристрастной логики. Где борьба, там и страстность. А страстность затуманивает зрение. Между тем защитник Дмитриевой всецело отстаивал объяснение своей клиентки, следовательно, шел одной с ней дорогой, а потому и в его доводах господствовал тот же, не ведущий к истине образ мыслей. Разбор его слов оправдывает мое мнение.

Законодатель оттого и вверил обвинение прокуратуре, что от частной деятельности не ожидал бесстрастия, необходимого для правосудия. Нет сомнения, что если бы обвинял тот, кто потерпел от преступления, то желание путем обвинения получить денежный интерес мешало бы беспристрастию, и интересы человеческой личности отдавались бы в жертву имущественному благу. Но насколько же сильнее, насколько опаснее для подсудимого, насколько одностороннее должно быть обвинение против него, когда его произносит другой подсудимый или его защитник, чтобы этим путем добиться оправдания! Поэтому строгая проверка, строгое внимание и отсутствие всякого увлечения должны руководить вами при оценке того, что вчера сказано защитником Дмитриевой в отношении к свидетелям, показавшим что-либо благоприятное для Карицкого. Тут были пущены предположения об отсутствии в свидетелях мужества, чести, памяти, ума, тут выступили намеки на расходы Карицкого во время допроса свидетелей; лжеприсяга и подкуп играли не последнюю роль.

Я не буду идти этим путем. Иначе понимаю я защиту и ее обязанность. Прочь все, что недостойно дела, которому мы служим, и задача упроститься, и в массе впечатлений и фактов, слышанных и указанных вами, останется немного главных и существенных вопросов.

Судебному следствию следовало проверить вопрос, виновен ли Карицкий в краже 38 тысяч, виновен ли он в том, что прорвал околоплодный пузырь Дмитриевой, подговаривал ли он докторов. Вот что было задачей дела. Как же ее проверило судебное следствие? Следствие вертелось главным образом около того, доказана ли связь Карицкого с Дмитриевой, виделись ли они в остроге и какая была причина Дмитриевой оговаривать Карицкого. Но нельзя не заметить, что будь доказана связь Карицкого, будь доказано, что он был у Дмитриевой в остроге, и имей мы налицо оговор Дмитриевой Карицкого, мы еще не приобретем несомненного обвинения. При наличности этих фактов только начинается вопрос:



достаточно ли их для обвинения, можно ли на этом основании признать Карицкого виновным. Между тем обвинение излагает доводы, доказывающие, что связь и свидание были, и, соединяя их с оговором Дмитриевой, предполагает победу одержанной. Впрочем, мы можем объяснить себе и причину, почему на этих фактах останавливаются. Ведь, кроме этих данных следствие не дает решительно ничего. Событие кражи, подговор Дюзингом Сапожникова, прокол пузыря -- не имеют ни в чем подтверждения, кроме слов Дмитриевой... Несуществующий факт не может иметь доказательств: от этого их нет и на них не указывают.

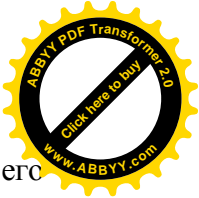
Обвинитель -- прокурор и обвинитель -- защитник Дмитриевой чувствуют слабую почву под ногами, поэтому они дают обширное место в своих речах соображениям неуместным в судебных прениях. Вспомните, что вы слышали. Вам говорили об особой важности дела, о высоком положении подсудимых, о друзьях и недругах их, готовых показать за и против обвиняемых. Говорили вам о том, что это дело решает вопрос о силе судебной реформы, решает болезненное недоумение общества, может ли суд справиться с высокопоставленными. Обвинитель не щадил похвал положению и известности защитников, связывал с этим возможность их влияния на общественное мнение и рядом указывал на свою малоизвестность. Унижение паче гордости, подумали мы. Говорили вам о слухах, ходящих в городе, что влияние сильных коснулось даже вас. Но венцом всего, последним словом обвинения были, конечно, знаменитые слова, сказанные вам вчера Урусовым. Вам говорилось о том, что великая идея равенства все шире и шире распространяется в обществе, и во имя этой идеи просили вас осудить Карицкого, если даже нет в деле достаточных улик, если не все доказательства ясны и полны. Со дня, когда на земле возвестили учение о равенстве и братстве, конечно, никому не удавалось сделать из него такого пристрастного, скажем прямее, такого извращенного применения.

Конечно, мимо пройдут эти потоки соображений, эти отвлекающие от дела фразы. Вы пришли сюда и обещали нам судить сидящих здесь подсудимых. Вы слушали, вникали и будете разбирать только вопрос о вине или невиновности их. Важность, положение лиц -- вопросы, которые связываются с этим делом, -- для вас чужды. Если бы от оправдания подсудимых зависел конец нового суда, вы все-таки оправдаете их, если, по совести, найдете это нужным. Не вопрос о том, быть или не быть суду, силен или слаб он в борьбе с подсудимыми, занимает нас: на этот путь вас не навлекут соображения моих противников. Каково бы ни было положение Карицкого в обществе, оно -- его заслуга. Лишить его прав вы не позволите себе без достаточных оснований. Во имя равенства сравните его с массой осужденных потому только, что он выработал себе выдвинувшее его положение в обществе, во имя братства, невзирая на бездоказательность обвинения, приготовьте ему по-братски позор и бесчестие -- такую просьбу могло вам сказать только ослепление... такое толкование могло выйти от лица, которому чуждо или не известно учение, которое он здесь так старательно проповедовал. Вы иначе понимаете его, ваша совесть научит вас иначе применять его к житейским вопросам. Вы, конечно, носите его в себе таким, каким оно возвещено.

Обратимся после всего сказанного к тем частям речи, которые касаются действительных вопросов дела.

Я пойду сначала за речью прокурора. Я прошу извинения у вас, что слово мое тут будет перескакивать с одного предмета на другой без достаточной связи. Но когда преследуем врага, мы идем его дорогой. Прокурорская речь вводит меня в эту трудно удерживаемую в памяти пестроту. Когда покончу с этой оценкой улик, я снова вернусь к более правильному изложению защиты.

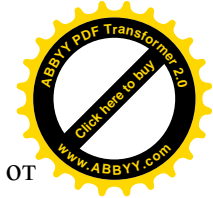
Обвинитель признает, что Карицкий бросил ребенка на мосту. Под мостом было бы безопаснее, но для этого нужно было спуститься в овраг. А это и долго, и заметно. Но, господа, чтобы мертвого ребенка спустить в овраг, зачем спускаться



самому под мост? Достаточно кинуть с моста. А Карицкий, если бы это было его дело, не оставил бы трупа на дороге, не дал бы возможности сейчас же обнаружить преступление. Не ясно ли, что неопытная, нерассудительная, трусливая рука работала дело? И если припомнить, что Кассель призналась, что ребенка кинула она, то вряд ли остается сомнение, что это ее дело и что Дмитриева оговорила в этом преступлении Карицкого ложно. Затем, по этому вопросу прокурор не имеет никаких доказательств, а следовательно, и оснований обвинять Карицкого. Кассель и Дмитриева расходятся в часе рождения ребенка. Прокурор верит показанию Дмитриевой, а слову Кассель не доверяет. "Матери ли не знать часа рождения?" -- говорит он. Матери всего менее знают, отвечаю ему я. Тут, когда начнутся родовые муки, когда мать борется сама со смертью, трудно сознавать не только время, но вообще действительность. И второе соображение обвинения не твердо, не опытно.

Оговор Дмитриевой о проколе, по словам прокурора, верен, точен и правдив. Карицкий берет у Дмитриевой уроки, как вводить зонд. Следовательно, ему это новое дело. Как кончится, -- неизвестно. Однако он настолько смел и уверен, что не делает прокола у ней в квартире, где уже делались впрыскивания и души и где, в случае неудачи, можно тотчас слечь в постель, а приглашает ее к себе, где ее могут встретить, где, в случае несчастья, легко можно обнаружить преступление, если Дмитриевой трудно будет уехать домой. Дышит нелогичностью, внутренней нецелесообразностью показание Дмитриевой, и я не могу согласиться с прокурором относительно его достоинства. Вопросы о цели оговора я здесь не разбираю. Оговор, его сила, связь Карицкого и осторожное свидание я рассмотрю позднее, где будет оцениваться совокупность улик против Карицкого. Стабников, свидетель Сапожкова, не нравится обвинителю. Он показал много благоприятного Карицкому. В связи с его показанием обнаружили и записки Дмитриевой к Кассель. Показание его точно, подробно. Показание его подтвердила и Кассель. Как быть? Его заподозривают. Чтобы его сбить, прокурор и защитник Дмитриевой просят у суда (и получают просимое) вызова целой массы свидетелей. Гонцы от суда в полчаса собирают свидетелей, и показание Стабникова не рознится с ними, не теряет Цены. Слова Стабникова заносят в протокол, не скрывая намерения преследовать его за какое-то преступление, заключающееся в его показании. Но факт, что Кассель ему говорила о том, что прокол сделан врачом Битным, что Кассель показывала ему записки Дмитриевой, остался непровергнутым. Из слов Кассель, из слов жены Стабникова, вызванной в свидетельницы из числа публики, сидевшей в зале, опять-таки происхождение записок еще более подтвердилось. Стабникова, правда, иногда, разноречива с мужем. Но возможно ли помнить все мелочи жизни, особенно, когда не знаете, что помнить их надобно для какого-либо дела? Подозревать же сходство показаний и этих свидетелей в связи с темными предположениями о влиянии неуместно. Свидетели эти взяты по просьбе защитника Дмитриевой, солидарного с прокурором в обвинении Карицкого, взяты вдруг... Не вся же Рязань закуплена Карицким? Стабников даже и вызван не Карицким. Явление его на суд зависело от Сапожкова. Неужели, если бы здесь было подтасованное показание, Карицкий не вызвал бы его на суд?

Обвинительная власть, кроме разбора показаний свидетелей и оценки улик, ставит и те вопросы, которые необходимо иметь в виду при всяком преступлении, -- вопросы о побуждении к преступлению. Для Дмитриевой они несомненны, хотя на них и нет указания у обвинителя. Беременность ей важна по отношению к мужу и по отношению к отцу и к кругу знакомых. Нет этих побуждений для Карицкого. Его отношения, если они были настолько секретны, что и теперь о них никто открыто не свидетельствует, ему не были опасны. Его лета и опытность, его средства, его право давать билеты на проезд -- все это могло ему, если бы нужно было скрыть беременность, указать другой безопасный путь исхода. Прокурор



видит побуждение к выкидышу в денежном интересе Карицкого -- получить от отца Дмитриевой наследство. Но богатство отца Дмитриевой сомнительно, и связь преступления с выгодами от наследства слишком отдалена.

Теми же, не выдерживающими критики соображениями освещает обвинитель и свидетелей по краже. Потерпевший от преступления Галич объяснил нам, что в июне, когда ночевал Карицкий, деньги были целы. Видел он их потом: и в начале, и в середине июля. Они лежали пачками, и число пачек было цело. Пропажа обнаружилась в июле; Галич помнит, как и когда он брал с собой деньги. Украденная пачка лежала отдельно, когда была в Липецке. В деревне деньги лежали вместе. В июле Карицкого у Галича не было, а Дмитриева была и в деревне, и в Липецке. Показание дает нам капитальный факт: Карицкий был в июне, деньги при нем и после него были целы; деньги пропали в июле, пропажа, по вероятному заключению Галича, случилась в Липецке; отнести ее ко времени возврата в деревню -- менее вероятно. Но и там и тут с моментами преступления совпадает факт -- пребывание Дмитриевой у Галича.

Когда кончил свое показание Галич, обвинитель и защитник Дмитриевой дружно напали на свидетеля. Целый день тысячью вопросов закидывали старика Один и тот же вопрос с вариациями о способе изложения десятки раз предлагали свидетелю. Всякую неточность в слове оглашали, как преступное лжепоказание. Доходило до того, что слово свидетеля, сказавшего: "Я поверял деньги и видел, что они целы", и затем повторившего: "Я поверял пачки, вижу, что они целы; отсюда я заключил, что все в целости", называли противоречием, называли доказательством ничтожности слов свидетеля. Но ведь это заходит за пределы житейской опытности, за пределы здравого рассудка. Кому придет на мысль сомневаться, что в жизни разве только не занятый ничем человек будет ежедневно перебирать по единице свои бумаги и деньги? Обыкновенно, если деньги лежали в пачках, то целость пачек ведет к заключению о целости и денег. Обнаружилась кража пропажей пачки. Галич объяснил нам содержание пачки: оказывается, что она состояла из похищенных бумаг. Допускающие мысль, что целость пачек не доказывает целости денег, отправляются от мысли, что в июне могли пропасть деньги из пачки, что в июне пощадили самую пачку, взяв только содержимое в ней, а в июле пропала и сама пачка.

Свидетель, говорят, сбивался под перекрестным допросом. Еще бы не сбиться! Вместо вопросов о деле, вместо выпуклых фактов, остающихся долго в памяти, его закидали вопросами о мелочах, которых человек не помнит и не считает нужным помнить. Чуть не до подробностей, в каких рубашечках были дети Галича, что говорили они при встрече с отцом, доходила пытливая защита Дмитриевой. Путем этих подробностей, путем утомления свидетеля, повторением одного и того же добились неточностей, анамний в показании. Но кто внимательно прислушался к показанию, тот вынес, конечно, то, что вынес и я из слов Галича, что деньги похищены не в июне, что они были целы в июле и пропали в конце этого месяца, когда Карицкого не было у Галича. В это время было там другое лицо, в руках которого перебивали все деньги Галича. Оттого-то защита этого лица и стремится к невозможному усилию момент кражи объяснить задним числом.

Предполагая в Галиче свидетеля, поющего по нотам, изготовленным Карицким, противники забывают, что дружба Карицкого и Галича, если существует, сильна верой в честность Карицкого, что дружеская услуга Галича Карицкому, стирающаяся до укрывательства его вины, была бы странностью. Ни дружба, ни услуга лицу, похитившему собственность, не предполагаются. Для вероятности этих фактов требуются весьма и весьма сильные доказательства.

Поездка в Москву вместе с Дмитриевой доказывается обвинителем также оригинальным приемом. От Карицкого требуют доказательств, что он не был.



Карицкий уступает желанию обвинителя, представляет свидетельство, данное ему канцелярией воинского начальника. Явившиеся свидетели подтверждают и объясняют свидетельство. Но перед этим не останавливаются обвинитель и Урусов. Они бросают темные тени на наши доказательства, свидетельство оспаривают не формальностью, указывают, что свидетели не могли объяснить закона, который позволяет выдачу подобных справок. Прокурор, по-видимому, забыл, что Устав гражданского судопроизводства давно разрешил выдачу справок, из дел, кроме сведений, подлежащих тайне. Урусов почти глумится, указывая на то, что свидетельство выдано подчиненными Карицкого своему начальнику. Неправда, день выдачи свидетельства опровергает остроумную заметку. Карицкий был не воинским начальником, а обвиняемым, когда дано ему свидетельство. Не достигает цели и тот прием, которым пользовались, чтобы подорвать веру в свидетелей настоящего факта.

Свидетели разъяснили осязательно, почему отсутствие Карицкого должно оставлять след. Самое кратковременное отсутствие всегда сопровождается передачей должности другому лицу.

Свидетели разъяснили еще один занимающий обвинителя вопрос: не было ли пропажи контрамарок в делах воинского начальника. Они подтвердили, что контрамарки пропали. Обвинение обрадовано этим показанием: оно подтверждает слова Дмитриевой что Карицкому нужны были деньги на пополнение растраты; оно объясняет повод кражи. Но, увы! Контрамарок, пропало всего на 37 руб. 50 коп. Это выяснилось дополнительными вопросами прокурора. Свидетели не оправдали ожиданий обвинителя; они неудобны для защитника Дмитриевой. Поэтому их заподозривают. Урусов высказал такого рода темные, ни в чем не основанные сомнения не только в достоинстве показаний, но даже в личном достоинстве свидетелей, что, я думаю, без всяких усилий с моей стороны ваше житейское разумение, ваша совесть отвергнут подобный прием-

Подрывается достоинство свидетеля не подобными инсинуациями, а разбором внутреннего содержания его показаний, критикой, а не оскорбительными отзывами о самом лице. Прокурор идет другой дорогой. Свидетели служат в канцелярии воинского начальника и не знают о том, в каком положении дело о краже контрамарок на 37 руб. 50 коп. Следовательно, они вовсе не знают, что у них делается в канцелярии. Откуда же, как не с чужих слов, рассказывают они о Карицком? Таков, кажется, ход умозаключений прокурора. Нельзя не отдать ему заслуженной цены и достоинства. Но и этот довод основан на извращенных фактах. Говоря это, прокурор не обратил внимания, что одному свидетелю судьба о контрамарках не известна, потому что он поступил на службу два года спустя, после того как дело сдано в архив; другой заведовал особой частью в канцелярии; третий, который теперь состоит при судебном отделении канцелярии, не мог тогда знать хода дела о контрамарках, ибо в 1866 году дела этого рбда, как им это объяснено, сосредоточились в аудиторитете. Наоборот, свидетельские показания и факты против Карицкого принимаются с глубокой верой. Стоит произнести слово против него, и обвинитель, и Урусов без всякой критики принимают за факт, не подлежащий сомнению, всякое указание, подрывающее защиту Карицкого.

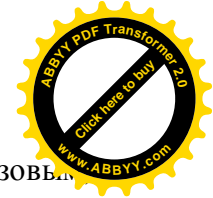
Соколов, которому продала Дмитриева билеты, похищенные у Галича, давая показания на предварительном следствии, подробно объяснил свое с ней знакомство; подробно передал то, что у нее ел, пил, где и когда сидел в гостях. Но ни одним словом не заикнулся он о том, чтобы Дмитриева ему сказала, что билеты эти от Карицкого. На суде он добавил этот факт. По ходу его речи видно было, что он сознает важность этого показания. Почему же не сказано об этом на предварительном следствии? Думаю, потому что не было этого, этого не говорила ему Дмитриева. Но, отвергая действительность показания Соколова, не вступаю ли



я на путь, который осуждал немного раньше? Нет, отвергая факт, но не имея данных к смелому выводу, я вывода этого не делаю и не имел в виду. Опыт дает нам объяснение подобных явлений. Достоверность показания свидетеля колеблется не одним предположением лживости лица. Лицо может своим непосредственным впечатлением добавить то, что он был очевидцем, многое, что он усвоил путем слухов, путем предположений. Дело Дмитриевой занимало годы внимание общества. Всякий из свидетелей слышал бездну суждений, толков и перетолков. Не остались они бесследны, и к виденному и слышанному непосредственно от подсудимых много прибавили эти толки. Припомните свои житейские встречи и случаи обыденной жизни, и подобный факт не раз повторится в вашей памяти.

Не менее неудачно соображение обвинителя о купонах. Купоны от похищенных билетов найдены в снегу у железной дороги, когда Дмитриева была уже в остроге. В этом прокурор видит несомненное доказательство того, что Дмитриева не могла их кинуть. Это правда. Но затем прокурор задается вопросом: кто же кинул? Тот, кто боялся оставить у себя, как улику в краже. А бояться мог Карицкий, так как ежеминутно мог ожидать, что Дмитриева укажет на него и к нему придут с обыском. Но зимой, когда печи и каминны ежедневно топят, Карицкий, если бы купоны были у него, нашел бы другой путь уничтожения их. Соображение обвинителя оказывается далеко не веским, и купоны, найденные в снегу, ничего не говорят такого, чтобы вело к смелому фантастическому предположению, какое по поводу их сделано. Впрочем, когда доказывают невозможное, поневоле в числе доводов прибегают к подобным натяжкам.

Перейдя к свидетелям в остроге и больнице, из которых первое имеет за себя действительно веские аргументы, я и здесь не могу не указать на то, что свидание осторожное далеко не бесспорно. Морозов, смотритель острога, и ключница утверждают, что его не было, и последняя свидетельница обвинителем не опровергнута. Для нее, как уже оставившей свои занятия в остроге, для Морозова, который уволился от должности смотрителя, нет особенных причин скрывать свое упущение по службе. Их опровергают бывшие арестанты Громов, Юдин и Яропольский. Но, вопреки предварительному следствию, один из них показал, что он не видал, а ему сказали, что был Карицкий; другие противоречат в обстоятельствах, относящихся к одежде, в какой был Карицкий, и другим, сказать правду, мелочам, которые, однако, имеют свое значение. Свидетели эти появились на предварительном следствии при странных обстоятельствах. Они сидели в военной камере вместе с десятками других арестантов. Один из них, Громов, поступает в дворянское отделение, чтобы прислуживать в камере дворянина-арестанта. Там лицо, которому он прислуживает, расспрашивает его и потом доносит, что к Дмитриевой приезжал Карицкий. Доносчик называет из полусотни арестантов только троих, и все трое арестантов оказываются из числа таких, которые на другой день должны оставить тюрьму. Прочие оставшиеся, которых должно было бы десяток раз переспрашивать, почему-то не знают ничего об этом свидании. Сближая эту странность с тем, что донес о свидании Карицкого никто другой, как Сапожков, в то время находившийся под стражей, мы получаем относительно свидетельских показаний арестантов совсем иной вывод. Вывод этот делается еще более основательным, если вспомнить, что Дмитриева сама здесь опровергает единообразное показание свидетелей о часе свидания. По их словам, свидание было в семь часов, при огне, а по ее словам, это было в три часа, то есть днем. Опровергая свидетеля Морозова, обвинитель и защитник Дмитриевой главным доводом считают показание нотариуса Соколова. Непримируемое противоречие между ним и Морозовым. Одно странно в показании Соколова: разговор Морозова с ним ограничился, по его словам, двумя фразами. Раз приходит к нему Морозов и говорит: просится у меня Карицкий к Дмитриевой. И более



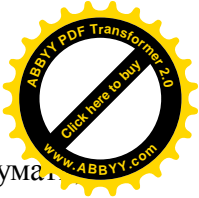
ничего. Соколов не может указать по этому делу никакого разговора с Морозовым, хотя, по его словам, дело его интересовало. Морозов ему ничего более не говорил. Интересное признание Морозова им хранилось почему-то в секрете, и только благодаря особенному участию, с каким один из свидетелей заботился о ходе процесса, секрет сделался известен защитнику Дмитриевой и обнаружился на суде. Странно, почему Морозов, ни о чем по делу Дмитриевой не разговаривавший с Соколовым, приходил к Соколову, сказал ему эти две фразы, необходимые для будущего его уличения на суде, и более никогда ни о чем не говорил. В этой странности простая причина недоверия моего к Соколову. Свидание в больнице прокурор основывает на показании Фроловой. Но самый ее рассказ о том, что между Карицким и Дмитриевой, людьми, относительно говоря, состоятельными, происходил разговор о том, что даст или не даст Карицкий Дмитриевой десять рублей за то, чтобы она показала у следователя так, как он ей сказал, служит лучшим опровержением действительности события. Если припомним, что по осмотру оказалось, что замазка окна, которое, если верить Дмитриевой, отворялось для свидания, была суха, какую она не могла бы быть, если бы была недавнего употребления, то обстоятельство свидания будет далеко не достоверно, если даже можно считать событие это все-таки возможным. На этом мы кончаем разбор отдельных улик, отдельных обвиняющих Карицкого доводов. Ничего убедительного мы не слышали.

Остаются сравнительно сильнейшими местами обвинения: связь Дарицкого с Дмитриевой, оговор его Дмитриевой и осторожное свидание. Их мы рассмотрим теперь. Мы рассмотрим не только то, доказывают ли связь и осторожное свидание вину Карицкого в тех деяниях, в каких его угодно было обвинять обвинительной камере Московской судебной палаты. Мы рассмотрим оговор Дмитриевой и оценим его с точки зрения доказательства и по его внутреннему достоинству.

Затем в массе слышанных нами показаний есть ли данные, которые вели бы к обвинению Карицкого?

Была ли связь между Карицким и Дмитриевой? Вот вопрос, к которому не один раз возвращалось судебное следствие и о котором мы слышали массу показаний и подробный рассказ Дмитриевой. Упорно борется против признания связи мой клиент; дружно нападают на него противники; и вопрос делается капитальным вопросом дела: с ним связывают какой-то неразрывной связью достоверность всех прочих обвинений на Карицкого. Перейдем и мы к нему. Доказательств приводится много. Связи придают характер достоверности, и достоверность заставляет посвятить факту весь запас внимания.

Безусловно согласиться с тем, что связь была, я не могу. Царькова, Кассель, Григорьева, хозяйка дома Гурковская, живущая с Дмитриевой в одном доме, в смежных помещениях, составляющих части одной общей большой квартиры, никто из них не решился дать категорического утвердительного ответа о существовании тесных отношений между Карицким и Дмитриевой. От прислуги трудно скрыть тайны дома, трудно уберечься. Поэтому неизвестность связи для Царьковой и Григорьевой дает опору для доверия к показанию Карицкого. Связь делается еще сомнительнее, если припомнить, что прислуга, показавшая здесь о поздних часах, какие просиживал Карицкий у Дмитриевой, дала подробные объяснения в том, что Дмитриева никогда не затворялась с Карицким в комнате, никогда не принимала мер предосторожности, чтобы другие не входили или не приходили к ней, пока сидит Карицкий. Никогда не видали Карицкого или Дмитриеву дозволившими ту простоту или бесцеремонность, которые позволяют себе люди, близкие друг к другу. Царькова иногда уходила ночевать к матери, и по возвращении, как показано ею, получала от Кассель выговоры за то, что не приходила домой и ей, старой женщине, приходилось проводить бессонные ночи,



дожидаясь пока уедет Карицкий. Вслушиваясь в это показание, приходится думать, что Карицкий и Дмитриева позволяли себе такие отношения только тогда, когда Царькова отпрашивалась к матери. Но вряд ли люди, сблизившиеся до брачных связей, должны были дожидаться случая остаться наедине до тех пор, пока придет случайное желание прислуге уйти на ночь из дому. Зависимость желания Карицкого и Дмитриевой оставаться вдвоем от подобного случая представляется невероятной. Если Царькова их стесняла, ничто не стесняло их отпустить Царькову совсем, отказав ей от места. Итак, Царькова не видала никаких признаков близкой связи; не видала, не слыхала о них и Гурковская. Существует еще сильный аргумент -- это дружба Дмитриевой с семейством Карицкого. Жена его ездила к Дмитриевой, Дмитриева своя в доме Карицких. Тесная связь, интимные отношения не остаются секретом, особенно когда последствием их являются беременность и сопровождавшие ее, если верить Дмитриевой, хлопоты Карицкого о выкидыше. Но если жена Карицкого продолжала свои отношения с Дмитриевой, если эти отношения были тесные и теплые, как об этом мы слышали согласно показание Карицкого и Дмитриевой, то связь делается сомнительной. Трудно до такой степени скрыть ее. А если бы связь была, то, конечно, дошло бы это до слуха семьи Карицкого. Не с дружбой и участием, а с враждой и ненавистью встречалась бы жена Карицкого со своей разлучницей. Не сидеть у ложа больной своей соперницы, сочувственно следя за ее болезнью, а проклинать, преследовать стала бы ее осиротевшая женщина.

Связь не доказывают и письма Карицкого, представленные Дмитриевой. В них Карицкому она пишет на "ты", как близкому, "милому" человеку. У нас сохранившиеся письма носят другой характер: вы слышали их; в них соблюдается способ выражения, употребительный между хорошо знакомыми лицами, не более: письма, писанные на "вы". Первая серия писем дошла к следователю странными путями. Первое письмо вынула из кармана и передала следователю сама Дмитриева. Оно заключало ее упреки Карицкому за вовлечение в несчастье и писано на "ты". Предназначалось ли оно действительно для Карицкого или писано оно как первый прием оговора Карицкого -- вот вопрос, который рождается при соображении этих обстоятельств. Другое письмо на "ты" опять имеет несчастье не дойти по адресу. Пишут его к Карицкому, а посылают к Каменеву. По возвращении письма от Каменева, оно, однако, к Карицкому не посылается, а Каменев, в конверт которого по ошибке вместо письма к нему, положено чужое письмо, другого письма от Дмитриевой, однако, не получает.

Вот данные, свидетельствующие о связи. Прибавьте к этому солдат, которые служат у Дмитриевой, прибавьте право Дмитриевой иногда пользоваться экипажем Карицкого. Вот и все. Не думаю, чтобы можно было даже и связь считать доказанной. О ней говорят, ее предполагают. Ссылались здесь на то, что всей Рязани это известно. Я не имею об этом никаких сведений. Я думаю, что и вам собирать сведения из сомнительных источников не следует. Мало ли слухов, которые имеют своим основанием сплетню, предубеждение? Ваша и наша задача решать вопросы на основании того, что добыто здесь, на суде.

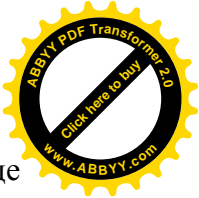
Я разобрал первый, самый, по мнению многих, основной вопрос в деле, самый многоговорящий факт. Но если отстранить предубеждения, если смотреть на дело без предвзятой мысли во что бы то ни стало обвинить человека, то нечего много было спорить из-за этого вопроса. Обвинительной, обезоруживающей силы этот факт не имеет. Допустим его. Допустим, что связь была. Может быть, это и верно. Ну, что же из этого? Неужели человек, находящийся в связи, непременно участвует во всех проступках своей любовницы, непременно главный виновник ее преступлений? Конечно, такая, логика ничем не оправдывается. Но если Карицкий не был виновник тех преступлений, в которых его вместе с собой обвиняет



Дмитриева, то зачем ему скрывать связь, чего бояться? Правда, странно скрывать безразличные факты, странно и подозрительно в человеке упорное отрицание самых, дозволительных поступков. Но связь Карицкого далеко не безразличная вещь, далеко не дозволительная с точки зрения общественной нравственности. Связь для человека семейного, для человека, не желающего разорваться с семьей, не желающего оглашать ее перед членами семейства, секрет и очень дорогой секрет. До последней возможности стараются скрыть его. Связь неудобно оглашать и в обществе; свободные связи отражаются и в общественном положении лица. Вот чем мотивируется, объясняется отрицание Карицким своей связи. А если человек раз стал на ложную дорогу, ему приходится с каждым часом все труднее и труднее отстаивать свое положение. Правда неминуемо возьмет свое, ложь обнаружится. Но ложь, обнаружившаяся в известном предмете, еще не доказывает лжи во всем. Ее можно предполагать, но нельзя утверждать. Если Карицкий говорил неправду, что не было связи, то отсюда следует только, что связь была, но не следует еще, что истина в отрицании каждого его слова. Если не верят Карицкому, что не он виновник похищения денег Галича, что он не виноват в проколе околоплодного пузыря, то пусть докажут, что именно он виновник обоих фактов.

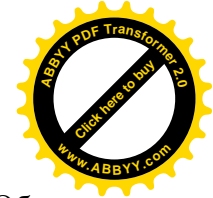
Такое же положение занимает в процессе и осторожное свидание, это мнимое торжество обвинения. Его фактическая достоверность рассмотрена. Как свидание заключенной женщины с лицом, ей близким или родственным, оно не имеет ничего преступного, ничего обвиняющего Карицкого. Значение его заключается в цели, с которой оно сделано, в беседах, которые происходили между Дмитриевой и Карицким. Поэтому, повторяю еще раз, было ли, не было ли свидания в остроге -- это для вас не важно. Тысячи свиданий в остроге происходят между различными лицами и не имеют ничего преступного. Между Дмитриевой и Карицким, как между людьми когда-то близкими, это свидание естественно. Оно могло быть даже и после оговора, оно могло иметь целью объяснение с подсудимой о цели, с какой она возводит непонятные преступления на неповинную голову. Обвинению, конечно, важно и дорого не то, что было свидание в остроге, а то, что происходило при свидании. Цель свидания разъясняется показанием Дмитриевой. Она объясняет свидание весьма пагубно для Карицкого; она говорит, что Карицкий приходил просить снять с него оговор об участии в выкидыше. Рассмотрим, насколько достоверно показание Дмитриевой.

Карицкий приходит к ней просить о снятии оговора о выкидыше, когда еще нет никаких данных у следователя для обвинения его, и ничего не предпринимает по краже, относительно которой Дмитриева уже дала показания; Карицкий торгуется с ней, предлагает 4 тысячи, она просит 8 тысяч рублей из числа выигранных по внутреннему пятипроцентному билету. Но никаких 8 тысяч рублей Дмитриева никогда не выговаривала, и так как на предварительном следствии этот факт был совершенно опровергнут, справкой из банка, который указал имена выигравших 8 тысяч рублей, в числе их Дмитриевой не было, то Дмитриева почти об этом не упоминала; следовательно, рассказ Дмитриевой о торгах между ею и Карицким относится к области вымыслов, как и весь ее оговор. При свидании все время сидел смотритель Морозов, а когда ему надобно было выйти, то вместо его был поставлен часовой солдат. Таким образом, если верить Дмитриевой, то Морозов допустил тайное свидание, но не допустил разговоров Дмитриевой один на один и уходя поставил свидетеля часового, чтобы сделать это свидание известным большому числу лиц. В этой путанице подробностей я вижу дальнейшее неправдоподобие оговора. Дмитриева покончила на этом, когда давала свои объяснения суду. Далее она не шла. Замечу, что столько же подробностей свидания занесено и в обвинительный акт.



Надобно заметить, что у Дмитриевой господствует прием показывать на суде только то, что записано в обвинительном акте. Сколько бы показаний у нее ни было на предварительном следствии, но на судебном она их знать не хочет, она держится только слов, занесенных в этот акт. Но на суде обнаружались записки, писанные ею из тюрьмы. Записки эти оказались целы в руках Кассель. Появление их было до известной степени ново. Дмитриева, однако, знала о них, так как муж Кассель приходил к ней и напомнил о существовании этих записок не более месяца тому назад. Пришлось дать о них показание, и Дмитриева рассказала, что в то время, когда она виделась с Карицким в остроге, она по просьбе его написала их. Но так как он ей не дал денег, то она ему их не отдала, а потом отдала их смотрителю. Смотритель возил их к Карицкому, потом привез назад, зажег спичку и сжег их при ней. Так как, записки целы, то значит, что смотритель ее обманул; сжег вместо этих записок похожие на них бумажки. Вот какие объяснения дает Дмитриева. Выходит, что при свидании она не согласилась снять оговора с Карицкого, но написала, по его приказанию, записки на имя Кассель. Выходит, что Карицкий, которому нужно снять с себя немедленно оговор, опозоривающий его имя, выманивает у нее записки, которые цели своей не достигают и во все время следствия не были известны, не были представлены к делу. Записки, которые так дорого ценятся, которые смотритель ездил продавать, которые притворно сжигаются, чтобы убедить Дмитриеву, что их нет, записки эти вдруг гибнут в неизвестности, и ими не пользуется Карицкий во время предварительного следствия, когда они могли дать иное направление делу. Соответствует ли природе вещей, чтобы записки, при происхождении которых была, по словам Урусова, разыграна глубоко задуманная иезуитская интрига, конечно, со стороны Карицкого, были оставлены в тени, были вверены в руки Кассель и при малейшей ее оплошности в руки врагов Карицкого, благодаря экономическим соображениям Кассель. Объяснение о происхождении записок, составляющее последнюю часть показания Дмитриевой об осторожном свидании, лишено всякого вероятия. А если вы разделяете со мной недоверие к слову Дмитриевой, то от этого, сначала так многообещающего факта, для обвинения ничего не остается.

Остается последний аргумент, последняя надежда обвинения -- слова Дмитриевой. Остается ее оговор, каждое слово которого обвинителем считается за самую непогрешимую истину. Как истинно относится к своему слову Дмитриева, как точны ее показания, отчасти мы видели из ее слов, сию минуту нами разобранных. Несуществующие выигрыши, неестественнейшие интриги изобретает она для своих целей. На две части делится оговор Дмитриевой. Одна часть относится к краже, другая -- к выкидышу. Ни одной из передач денег Карицким Дмитриевой, кроме нее, никто не мог засвидетельствовать. Никому, кроме Соколова, она даже слова не сказала о том, пока не случилось судебное следствие. Хотя и уверяет она, что ездила с ним в Москву вместе, но ездившая с ней Гурковская не видела Карицкого ни на станции в Рязани, ни в поезде, ни в Москве, ни при проходах обратно в Рязань. Дмитриева всю дорогу о Карицком не говорила Гурковской. А тогда ей нечего было скрывать Карицкого, ибо еще ничего подозрительного не было. По словам ее, она ездила с Карицким менять билеты, но неудачно: у Юнкера не приняли их, сказали, что билеты "предъявлены", у Марецкого то же. Тогда их отобрал у нее Карицкий. Но тут опять несообразность. Карицкий не входит в контору Юнкера, значит боится попасться. Тогда зачем же ему, узнавши от Дмитриевой, что билеты уже предъявлены, ехать к Марецкому и рисковать быть арестованным. Оговор имеет целью доказать, что билеты получены и отданы обратно Карицкому. Но у Карицкого и до этого, и после этого следствие не обнаружило перемены в финансовом положении; наоборот, у Дмитриевой мы видим те признаки, которыми обыкновенно сопровождается значительное



имущественное приобретение. Незадолго до размена, может быть тотчас за похищением, она распускает слух о выигрыше ею 25 тысяч, потом 8 тысяч. Оба слуха здесь были подтверждены Докудовской и Радугиным. Оба оказались вымыслами. После размена у Дмитриевой появляются экстраординарные расходы: в тот день, когда она, по ее словам, неудачно побывала в двух конторах, а неизвестная дама в третьей конторе, у Лури, разменяла билеты Галича, Дмитриева покупает для отца тарантас, а для себя разную мебель. По приезде в Рязань Дмитриева, до того времени платившая по 12 рублей в месяц Гурковской, увеличивает плату за квартиру больше чем вдвое и, кроме того, затрачивает 500 рублей на поправку дома Гурковской.

О ряжской поездке, которую, по оговору Дмитриевой, сделала она также по поручению Карицкого, сказано ею также много невероятного. Карицкий велит ей разменять только два билета, а дает ей четыре. Зачем же давать четыре, если два не нужно менять? Во время ряжской поездки она теряет купоны от билетов на станции. Купоны также из похищенных. "Но станция -- не меняльная лавка, невероятно, чтобы там стали справляться о том, кому выданы потерянные купоны, и Дмитриева, при размене билетов назвавшаяся Буринской, здесь смело пишет свою фамилию. В Ряжске, когда ее руку свидетельствуют и пристав для удостоверения просит у ней вид, она так бойко и бодро сохраняет спокойствие духа, что пристав не подумал настаивать на предъявлении вида и поверил ей на слово. Видно, что не по чужому приказу, не по поручению другого лица меняла Дмитриева билеты, а перемену фамилии и все поведение свое в Ряжске сумела разыграть без посторонней помощи. Может быть, и действительно Соколову сказала Дмитриева о передаче ей билетов от Карицкого. Но к этому вынудил ее вопрос Соколова: откуда у ней столько денег? Действительность же передачи Дмитриева ничем не подтвердила, и показание ее хотя и остается без опровержения, но от этого оно несколько не выигрывает, как ничем с ее стороны не подтвержденное.

Оговор о краже кончился. Что деньги были у Карицкого, что получены они от Карицкого, это мы знаем только от Дмитриевой. Достоверность оговора мы видели. Из двух лиц, между которыми колеблется обвинение, одно не было на месте кражи в момент совершения, другое -- во все вероятные моменты его; у одного в руках пребывали все деньги, у другого никто не видал ни копейки; у одного не видать ни малейших признаков перемены денежного положения, у другого -- и рассказы о выигрышах и завещания и расходы на широкую ногу... Неужели оговора против лица, против которого нет ни одной улики, достаточно для обвинения, когда масса улик против оговаривающего подрывает значение оговора? Неужели ничего не значит то важное обстоятельство, что Дмитриева созналась в краже отцу и дяде и вы, несмотря на ее сознание, поверите обвинению Карицкого? Несмотря на отвращение, какое старался поселить в вас к сцене признания защитник Дмитриевой, мы этой сценой дорожим. Прося прощения, Дмитриева плакала, и притворства тогда никто не замечал. Карицкий был приглашен родными как свой человек, имеющий влияние, могущий похлопотать -- факт весьма естественный. У Карицкого, после признания Дмитриевой, Галичи провели день, обедали, и в его поведении не было никакого смущения или перемены. Его объяснения не были секретны.

Сознание Дмитриевой было искренно. Ему верят и сейчас. Я утверждаю, что самый близкий ей человек, отец ее, и сейчас ему верит. Так он говорил на предварительном следствии. Его нет теперь на суде, он отказался свидетельствовать на суде по праву отца. Этот отказ говорит много. Закон знает, что отцу тяжело свидетельствовать против своих детей. Сожаление, любовь будут стеснять правду. Оттого-то он и дает на волю отцу показывать или не показывать

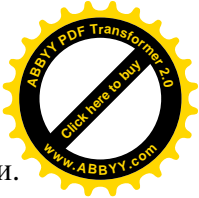


на суде. Само собой разумеется, что если бы дочь или сын невинно страдали, если бы отец мог доказать невинность, то он не уклонился бы от свидетельства. Если же он уклонился, то, вероятно, потому, что знал о невозможности опровергнуть достоверность ему известного факта -- сознания своей дочери.

По поводу выкидыша оговор Дмитриевой падает на несколько лиц. Если верить ей, то Карицкий убедил Сапожкова, убедил Дю-зинга принять участие в этом деле и, наконец, покончил его собственной рукой. Ни одного из этих фактов ничем следствие не подтвердило. Обвинительный акт говорит, что Дюзинг и Сапожков признали, что Карицкий делал им предложения. Это неправда. Вы обоих подсудимых слушали; от защиты их вы услышите разбор оговора в этой части. - Относительно правдоподобия оговора Дмитриевой о проколе я уже говорил. Сапожков и Кассель показали нам, что виновника прокола надо искать не между подсудимыми. Сапожков особенною дружбой к Карицкому себя не проявил. Ведь он сделал донос об осторожном свидании Карицкого, едва разнесся слух об этом. Так, если бы было верно, что, приехавши от Карицкого после прокола пузыря, Дмитриева сказала об этом Сапожкову, не умолчал бы он о том. Кассель говорила о другом лице не только здесь, на суде, но и прежде Стабникову. Как ни старались опорочить Стабникова, свидетельство его осталось, записка тоже. Сомневались в его честности, предполагали его участие во многих уголовных делах. Но мало ли в чем сомневалась защита Дмитриевой, мало ли во что она верила. Ее личное доверие и сомнение еще ровно ничего не доказывают. Что же касается участия Стабникова в уголовных делах, то после вопросов обвинителя и ответов Стабникова несомненно, что прокуратура в своих намерениях потерпела полное поражение.

Оговор Дмитриевой несостоятелен. Слова ее не подтверждаются, а вместе с этим и все обвинение Карицкого. Показание Дмитриевой -- вот на чем построены предположения о виновности. Оговор подсудимого, даже и при отсутствии противоречий в нем, если его не подкрепляют сильные дополнительные доказательства, -- опасная улика. Верить ему нужно осторожно. Много причин явиться ему на свет божий, не имея за собой внутренней правды. Оговор снимает вину с оговаривавшего и перелагает ее на другого; оговор в соучастии иногда значительно облегчает вину оговаривавшего. В тюрьме развито широко учение об оговоре. Нам, ежедневно вращающимся с уголовными делами, сотни примеров приходят на память. Оговор Дмитриевой родился в тюрьме. В тюрьме после оговора в краже создала она и оговор в выкидыше. Но, кроме общих причин, для оговора Дмитриевой есть и свои личные, особенные. Вы сами, видимо, доискивались этих причин, вы от себя предлагали Карицкому вопросы о причине, которая заставляет Дмитриеву клеветать на него. Тут надо принять две точки отправления. Иная причина, если была между ними связь, иная, если связи не было. Если не было связи, то обманутая надежда, данная ей Карицким, что ее сознание не поведет к осуждению, могла озлобить ее, и оговор, когда сознание привело ее в тюрьму, мог входить в план ее защиты, переносил вину на другое лицо. Раз дан толчок, раз злоба, месть овладела душой, а оговор недостаточно подтверждается, его усиливают другим. Допустим, что связь была. Тогда известное из следствия событие, что после кражи, обнаружившейся у Галича и признанной Дмитриевой, Карицкий перестал бывать у нее, дает нам объяснение. Разрыв в минуту, когда помощь нужна, когда разрыв, соединенный с неисполненной надеждой, что дело будет замято, затруднял возвращение к семейству, мог дать толчок и мести, и оговору.

Я разобрал улики, приведенные прокурором; я рассмотрел три главных факта, которым была посвящена большая часть судебных прений. Многое ускользнуло из памяти. Но вы с неустанным вниманием следили за делом: вы сами давали



вопросы, а следовательно, следили и за интересующими вашу мысль ответами. Много, что нам хотелось разяснить, что было в высшей степени важно для подсудимого, которого я защищаю, осталось в тени, вопреки нашему желанию. В этом отношении настоящее дело имеет великое значение; настоящее дело не встретит другого подобного образца. Вы слышали, как оно велось.

Защита Дмитриевой и обвинение открыто не скрывали своих убеждений против Карицкого, не скрывали своего предвзятого взгляда, что всякий свидетель, не обвиняющий Карицкого, забывает долг и святость присяги. Всякое объяснение Карицкого перебивалось десятки раз возражениями. Заявления его защитника встречали отпор и если были уважены судом, то после долгих и бурных споров. Защитник Дмитриевой и прокурор не щадили усилий, чтобы подорвать доверие к нашим свидетелям и, пользуясь благосклонным вниманием суда, почти распоряжались производством дела. Как ополчились они против свидетелей, вызванных нами, как созывали целый ряд свидетелей из публики и со всех концов Рязани, это вы видели. Как заявляли, что стоит только свидетелям нашим, подобно всем прочим, удалиться на ночь из суда, и всякая вера в них пропадает, и они им значения никакого не придадут,-- это вы слышали здесь. При таких данных борьба становилась час от часу труднее. Теперь настал ей конец. Наступает ваша очередь приговором положить конец спорам и пререканиям. Я жду с полным убеждением, что вы вынесете решение, которое вам внушит ваша совесть, управляемая разумом и опытом жизни. Я жду от вас приговора, который будет результатом тех убеждений, которые вы вынесли из судебного следствия. Это не будет безотчетное впечатление, бог знает каким путем запавшее на душу. Вы не дадите себя увлечь, правда громким, сильным, но все-таки недостойным правосудия доводом, сказанным моими предшественниками. Осудить Карицкого, потому что он сильный человек, обвинить, потому что он не склоняет головы, внушали вам. Вы сделаете честное дело, говорили вам, вы покажете, что русский суд -- сила, что смеяться над ним нельзя. Господа, обществу нужно правосудие; правосудие же должно карать тех, чья вина доказана на суде. Общество не нуждается, чтобы для потехи одних и на страх других время от времени произносили обвинение против сильных мира, хотя бы за ними не было никакой вины. Теория, проповедующая, что изредка необходимо прозвучать цепями осужденных, изредка необходимо наполнять тюрьмы жертвами, недостойна нашего времени. Вы не поддадитесь ей! Подсудимый, вина которого не доказана, может ввериться смело суду вашему. Его положение, симпатия и антипатия к нему разных слоев общества для вас не имеют руководящего значения. Вы будете только судьями совести. Вы мудро ограничите свою задачу тем, что дало судебное следствие. В этих строгих рамках судейской мудрости вы, может быть, не понравитесь проповедникам теории равенства или теории жертвы цепей, но зато вы найдете оправдание своему делу в вашей совести и во мнении общества.